

Максим Горький

Бывшие люди

I

Въезжая улица — это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами; дырявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испещрены заплатами из лубков, поросли мхом; над ними кое-где торчат высокие шесты со скворечницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел — жалкая флора городских окраин, населенных беднотою.

Мутно-зеленые от старости стекла окон домишек смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов. Посреди улицы ползет в гору извилистая колея, лавируя между глубоких рытвин, промытых дождями. Кое-где лежат поросшие бурьяном кучи щебня и разного мусора — это остатки или начала тех сооружений, которые безуспешно предпринимались обывателями в борьбе с потоками дождевой воды, стремительно стекавшей из города. Вверху, на горе, в пышной зелени густых садов прячутся красивые каменные дома, колокольни церковей гордо вздымаются в голубое небо, их золотые кресты ослепительно блестят на солнце.

В дожди город спускает на Въезжую улицу свою грязь, в сухое время осыпает ее пылью, — и все эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей рукой.

Приплюснутые к земле, они усеяли собой всю гору, полугнилые, немощные, окрашенные солнцем, пылью и дождями в тот серовато-грязный колорит, который принимает дерево в старости.

В конце этой улицы, выброшенный из города под гору, стоял длинный двухэтажный выморочный дом купца Петунникова. Он крайний в порядке, он уже под горой, дальше за ним широко развертывается поле, обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке.

Большой старый дом имел самую мрачную физиономию среди своих соседей. Весь он покривился, в двух рядах его окон не было ни одного, сохранившего правильную форму, и осколки стекол в изломанных рамах имели зеленовато-мутный цвет болотной воды.

Простенки между окон испещряли трещины и темные пятна отвалившейся штукатурки — точно время иероглифами написало на стенах дома его биографию. Крыша, наклонившаяся на улицу, еще более увеличивала его плачевный вид — казалось, что дом нагнулся к земле и покорно ждет от судьбы последнего удара, который превратит его в бесформенную груду полугнилых обломков.

Ворота отворены — одна половинка их, сорванная с петель, лежит на земле, и в щели, между ее досками, проросла трава, густо покрывшая большой, пустынный двор дома. В глубине двора — низенькое закопченное здание с железной крышей на один скат. Самый дом необитаем, но в этом здании, раньше кузнице, теперь помещалась «ночлежка», содержимая ротмистром в отставке Аристидом Фомичом Кувалдой.

Внутри ночлежка — длинная, мрачная нора, размером в четыре и шесть сажень; она освещалась — только с одной стороны — четырьмя маленькими окнами и широкой дверью. Кирпичные, нештукатуренные стены ее черны от копоти, потолок из барочного днища тоже прокоптел до черноты; посреди ее помещалась громадная печь, основанием которой служил горн, а вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучками всякой рухляди, служившей ночлежникам постелями. От стен пахло дымом, от земляного пола — сыростью, от нар — гниющим тряпьем.

Помещение хозяина ночлежки находилось на печи, нары вокруг печи были почетным местом, и на них размещались те ночлежники, которые пользовались благоволением и дружбой хозяина.

День ротмистр всегда проводил у двери в ночлежку, сидя в некотором подобии кресла, собственноручно сложенного им из кирпичей, или же в харчевне Егора Вавилова, находившейся наискось от дома Петунникова; там ротмистр обедал и пил водку.

Перед тем, как снять это помещение, Аристид Кувалда имел в городе бюро для рекомендации прислуги; восходя выше в его прошлое, можно было узнать, что он имел типографию, а до типографии он, по его словам, — «просто — жил! И славно жил, черт возьми! Умеючи жил, могу сказать!»

Это был широкоплечий, высокий человек лет пятидесяти, с рябым, опухшим от пьянства лицом, в широкой грязно-желтой бороде. Глаза у него серые, огромные, дерзко веселые; говорил он басом, с рокотаньем в горле, и почти всегда в зубах его торчала немецкая фарфоровая трубка с выгнутым чубуком. Когда он сердился, ноздри большого, горбатого, красного носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупных, как у волка, желтых зубов. Длиннорукий, колченогий, одетый в грязную и рваную офицерскую шинель, в сальной фуражке с красным околышем, но без козырька, в худых валенках, доходивших ему до колен, — поутру он неизменно был в тяжелом состоянии похмелья, а вечером — навеселе. Допьяна он не мог напиться, сколько бы ни выпил, и веселого расположения духа никогда не терял.

Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с трубкой в зубах, он принимал постояльцев.

— Что за человек? – спрашивал он у подходившего к нему рваного и угнетенного субъекта, сброшенного из города за пьянство или по какой-нибудь другой основательной причине опустившегося вниз.

Человек отвечал.

— Представь в подтверждение твоего вранья законную бумагу.

Бумага представлялась, если была. Ротмистр совал ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и говорил:

— Все в порядке. За ночь — две копейки, за неделю — гривенник, за месяц — три гривенника. Ступай и займи себе место, да смотри — не чужое, а то тебя вздуют. У меня живут люди строгие...

Новички спрашивали его:

— А чаем, хлебом или чем съестным не торгуете?

— Я торгую только стеной и крышей, за что сам плачу мошеннику — хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдии Иуде Петунникову, пять целковых в месяц, – объяснял Кувалда деловым тоном, – ко мне идет народ, к роскоши непривычный... а если ты привык каждый день жрать — вон напротив харчевня. Но лучше, если ты, обломок, отучишься от этой дурной привычки. Ведь ты не барин — значит, что ты ешь? Сам себя ешь!

За такие речи, произносимые деланно-строгим тоном, но всегда со смеющимися глазами, за внимательное отношение к своим постояльцам ротмистр пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывший клиент ротмистра являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в более или менее приличном виде и с бодрым лицом.

— Здравствуйте, ваше благородие! Каковенько поживаете?

— Здорово. Жив. Говори дальше.

— Не узнали?

— Не узнал.

— А помните, я у вас зимой жил с месяц... когда еще облава-то была и трех забрали?

— Н-ну, брат, под моей гостеприимной кровлей то и дело полиция бывает!

— Ах ты, господи! Еще вы тогда частному приставу кукиш показали!

— Погоди, ты плюнь на воспоминания и говори просто, что тебе нужно?

— Не желаете ли принять от меня угощение махонькое? Как я о ту пору у вас жил, и вы мне, значит...

— Благодарность должна быть поощряема, друг мой, ибо она у людей редко встречается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсем тебя не помню, но в кабаке с тобой пойду с удовольствием и напьюсь за твои успехи в жизни с наслаждением.

— А вы все такой же — все шутите?

— Да что же еще можно делать, живя среди вас, горюнов?

Они шли. Иногда бывший клиент ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощением, возвращался в ночлежку; на другой день они снова угощались, и в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с сознанием, что он вновь пропился дотла.

— Ваше благородие! Вот те и раз! Опять я к вам в команду попал? Как же теперь?

— Положение, которым нельзя похвалиться, но, находясь в нем, не следует и скулить, — резонировал ротмистр. — Нужно, друг мой, ко всему относиться равнодушно, не портя себе жизни философией и не ставя никаких вопросов. Философствовать всегда глупо, философствовать с похмелья — невыразимо глупо. Похмелье требует водки, а не угрызения совести и скрежета зубного... зубы береги, а то тебя бить не по чему будет. На-ка вот тебе двугривенный, — иди и принеси косушку водки, на пятак горячего рубца или легкого, фунт хлеба и два огурца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвесим положение дел.

Положение дел определялось вполне точно дня через два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша от трешницы или пятишницы, которая была у него в кармане в день появления благодарного клиента.

— Приехали! Баста! — говорил ротмистр. — Теперь, когда мы с тобой, дурак, пропились вполне совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродетели. Справедливо сказано: не согрешив — не покаешься, не покавшись — не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться бесполезно, давай же прямо спасаться. Отправляйся на реку и работай. Если не ручаешься за себя — скажи подрядчику, чтоб он твои деньги удерживал, а то отдавай их мне. Когда накопим капитал, я куплю тебе штаны и прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь мог сойти за порядочного человека и скромного труженика, гонимого судьбой. В хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!

Клиент отправлялся крючничать на реку, посмеиваясь над речами ротмистра. Он неясно понимал их соль, но видел перед собой веселые глаза, чувствовал бодрый дух и знал, что в красноречивом ротмистре он имел руку, которая, в случае надобности, может поддержать его.

И действительно, чрез месяц-два какой-нибудь каторжной работы клиент, по милости строгого надзора за его поведением со стороны ротмистра, имел материальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того места, куда он опустился при благосклонном участии того же ротмистра.

— Н-ну, друг мой, — критически осматривая реставрированного клиента, говорил Кувалда, — штаны и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения — верь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я играл в городе роль порядочного человека, но, черт возьми, как только штаны с меня слезли, так я упал в мнении людей и должен был скатиться сюда из города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех вещах по их форме, сущность же вещей им недоступна по причине врожденной людям глупости. Заруби это себе на носу и, уплатив мне хотя половину твоего долга, с миром иди, ищи и да обрящешь!

— Я вам, Аристид Фомич, сколько состою? — смущенно осведомлялся клиент.

— Рубль и семь гривен... Теперь дай мне рубль или семь гривен, а остальные я подожду на тебе до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имеешь.

— Покорнейше благодарю за ласку! – говорит тронутый клиент. – Экой вы добряга, право! Эх, напрасно вас жизнь скрутила... какой, чай, вы орел были на своем-то месте?!

Ротмистр жить не может без витиеватых речей.

— Что значит — на своем месте? Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю нашему место около хорошей бабы и среди полдюжины ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и ты — ты идешь искать место лакея или коридорного, а я вижу, что твое место в солдатах, ибо ты неглуп, вынослив и понимаешь дисциплину. Видишь — какая штука? Нас жизнь тасует, как карты, и только случайно — и то ненадолго — мы попадаем на свое место!

Иногда подобные прощальные беседы служили предисловием к продолжению знакомства, которое снова начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что клиент пропивался и изумлялся, ротмистр давал ему реванш, и... пропивались оба.

Такие повторения предыдущего ничуть не портили добрых отношений между сторонами. Упомянутый ротмистром учитель был именно одним из тех клиентов, которые чинились лишь затем, чтобы тотчас же разрушиться. По своему интеллекту это был человек, ближе всех других стоявший к ротмистру, и, быть может, именно этой причине он был обязан тем, что, опустившись до ночлежки, уже более не мог подняться.

С ним Кувалда мог философствовать в уверенности, что его понимают. Он ценил это, и когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработав деньжонок и имея намерение снять себе в городе угол, — Аристид Кувалда так грустно провожал его, так много изрекал меланхолических тирад, что оба они непременно напивались и пропивались. Вероятно, Кувалда сознательно ставил дело так, что учитель при всем желании не мог выбраться из его ночлежки. Можно ли было Кувалде, человеку с образованием, осколки которого и теперь еще блестели в его речах, с развитой превратностями судьбы привычкой мыслить, — можно ли было ему не желать и не стараться всегда видеть рядом с собой человека, подобного ему? Мы умеем жалеть себя.

Этот учитель когда-то что-то преподавал в учительском институте приволжского города, но был устранен из института. Потом он служил конторщиком на кожевенном заводе, библиотекарем, изведаль еще несколько профессий, наконец, сдал экзамен на частного поверенного по судебным делам, запил горькую и попал к ротмистру. Был он высокий, сутулый, с длинным, острым носом и лысым черепом. На костлявом, желтом лице с клинообразной бородкой блестели беспокойно глаза, глубоко ввалившиеся в орбиты, углы рта были печально опущены книзу. Средства к жизни или, вернее, к пьянству он добывал репортерством в местных газетах. Случалось, что он зарабатывал в неделю рублей пятнадцать. Тогда он отдавал их ротмистру и говорил:

— Будет! Я возвращаюсь в лоно культуры.

— Похвально! Сочувствуя от души твоему, Филипп, решению, я не дам тебе ни рюмки! – строго предупреждал его ротмистр.

— Буду благодарен!..

Ротмистр слышал в его словах что-то близкое к робкой мольбе о послаблении и еще строже говорил:

— Хоть реви — не дам!

— Ну, и — кончено! – вздыхал учитель и отправлялся на репортаж. А через день, много через два, он, жаждущий, смотрел на ротмистра откуда-нибудь из угла тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно ждал, когда смягчится сердце друга. Ротмистр

произносил пропитанные убийственной иронией речи о позоре слабохарактерности, о скотском наслаждении пьянства и на другие, приличные случаю, темы. Надо отдать ему справедливость — он вполне искренне увлекался своей ролью ментора и моралиста; но настроенные скептически завсегдатаи ночлежки, следя за ротмистром и слушая его карающие речи, говорили друг другу, подмигивая в его сторону:

— Химик! Ловко отбодряется! Дескать, я тебе говорил, ты меня не слушал — пеняй на себя!

— Его благородие настоящий воин — вперед идет, а уже назад дорогу ищет!

Учитель ловил своего друга где-нибудь в темном углу и, вцепившись в его грязную шинель, дрожащий, облизывая сухие губы, невыразимыми словами, глубоко трагическим взглядом смотрел в его лицо.

— Не можешь? – угрюмо спрашивал ротмистр.

Учитель утвердительно кивал головой.

— Потерпи еще день, — может быть, справишься? – предлагал Кувалда.

Учитель тряс головой отрицательно. Ротмистр видел, что худое тело друга все трепещет от жажды яда, и доставал из кармана деньги.

— В большинстве случаев бесполезно спорить с роком, – говорил он при этом, точно желая оправдать себя перед кем-то.

Учитель не все свои деньги пропивал; по крайней мере половину их он тратил на детей Въезжей улицы. Бедняки всегда детьми богаты; на этой улице, в ее пыли и ямах, с утра до вечера шумно возились кучи оборванных, грязных и полуголодных ребятишек.

Дети — живые цветы земли, но на Въезжей улице они имели вид цветов, преждевременно увядших.

Учитель собирал их вокруг себя и, накупив булок, яиц, яблоков и орехов, шел с ними в поле, к реке. Там они сначала жадно поедали все, что предлагал им учитель, а потом играли, наполняя воздух на целую версту вокруг себя шумом и смехом. Длинная фигура пьяницы как-то съеживалась среди маленьких людей, они относились к нему, как к своему одноплетку, и звали его просто Филиппом, не добавляя к имени дядя или дядюшка. Вертась около него, как вьюны, они толкали его, вскакивали к нему на спину, хлопали его по лысине, хватили за нос. Все это, должно быть, нравилось ему, он не протестовал против таких вольностей. Он вообще мало разговаривал с ними, а если и говорил, то осторожно и робко, точно боялся, что его слова могут выпачкать их или вообще повредить им. Он проводил с ними, в роли их игрушки и товарища, по несколько часов кряду, рассматривая оживленные рожицы тоскливо-грустными глазами, а потом задумчиво шел в харчевню Вавилова и там молча напивался до потери сознания.

Почти каждый день, возвращаясь с репортажа, учитель приносил с собой газету, и около него устраивалось общее собрание всех бывших людей. Они двигались к нему, выпившие или страдавшие с похмелья, разнообразно растрепанные, но одинаково жалкие и грязные.

Шел толстый, как бочка, Алексей Максимович Симцов, бывший лесничий, а ныне торговец спичками, чернилами, ваксой, старик лет шестидесяти, в парусиновом пальто и в широкой шляпе, прикрывавшей измятыми полями его толстое и красное лицо с белой густой бородой, из которой на свет божий весело смотрел маленький пунцовый нос и блестящие слезящиеся циничные глазки. Его прозвали Кубарь — прозвище метко очерчивало его круглую фигуру и речь, похожую на жужжание.

Вылезал откуда-нибудь из угла Конец — мрачный, молчаливый, черный пьяница, бывший тюремный смотритель Лука Антонович Мартьянов, человек, существовавший игрой в «ремешок», «в три листика», «в банку», и прочими искусствами, столь же остроумными и одинаково нелюбимыми полицией. Он грузно опускал свое большое,

жестоко битое тело на траву, рядом с учителем, сверкал черными глазами и, простирая руку к бутылке, хриплым басом спрашивал:

— Могу?

Являлся механик Павел Солнцев, чахоточный человек лет тридцати. Левый бок у него был перебит в драке, лицо желтое и острое, как у лисицы, кривилось в ехидную улыбку. Тонкие губы открывали два ряда черных, разрушенных болезнью зубов, лохмотья на его узких и костлявых плечах болтались, как на вешалке. Его прозвали Обьедок. Он промышлял торговлей мочальными щетками собственной фабрикации и вениками из какой-то особенной травы, очень удобными для чистки платья.

Приходил высокий, костлявый и кривой на левый глаз человек, с испуганным выражением в больших круглых глазах, молчаливый, робкий, трижды сидевший за кражи по приговорам мирового и окружного судов. Фамилия его была Кисельников, но его звали Полтора Тараса, потому что он был как раз на полроста выше своего неразлучного друга дьякона Тараса, расстриженного за пьянство и развратное поведение. Дьякон был низенький и коренастый человек с богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Он удивительно хорошо плясал и еще удивительнее сквернословил. Они вместе с Полтора Тарасом избрали своей специальностью пилку дров на берегу реки, а в свободные часы дьякон рассказывал своему другу и всякому желающему слушать сказки «собственного сочинения», как он заявлял. Слушая эти сказки, героями которых всегда являлись святые, короли, священники и генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались и тарасили глаза в изумлении перед фантазией дьякона, рассказывавшего, прищурив глаза, поразительно бесстыдные и грязные приключения. Воображение этого человека было неиссякаемо и могуче — он мог сочинять и говорить целый день и никогда не повторялся. В лице его погиб, быть может, крупный поэт, в крайнем случае недюжинный рассказчик, умевший все оживлять и даже в камне влагавший душу своими скверными, но образными и сильными словами.

Был тут еще какой-то нелепый юноша, прозванный Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать и с той поры остался среди этих людей, к их удивлению. Сначала его не замечали — днем он, как и все, уходил изыскивать пропитание, но вечером постоянно торчал около этой дружной компании, и наконец ротмистр заметил его.

— Мальчишка! Ты что такое на сей земле?

Мальчишка храбро и кратко ответил:

— Я — босяк...

Ротмистр критически посмотрел на него. Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутым носом. На нем была надета синяя блуза без пояса, а на голове торчал остаток соломенной шляпы. Ноги босы.

— Ты — дурак! — решил Аристид Кувалда. — Что ты тут околачиваешься? Водку пьешь? Нет... Воровать умеешь? Тоже нет. Иди научись и приходи тогда, когда уже человеком будешь...

Парень засмеялся.

— Нет, уж я поживу с вами.

— Для чего?

— А так...

— Ах ты — метеор! — сказал ротмистр.

— Вот я ему сейчас зубы вышибу, — предложил Мартьянов.

— А за что? — осведомился парень.

— Так...

— А я возьму камень и по голове вас тресну, — почтительно объявил парень.

Мартьянов избил бы его, если б не вступился Кувалда.

— Оставь его... Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй. Ты без достаточного основания хочешь ему зубы выбить; он, как и ты, без основания хочет жить с нами. Ну, и черт с ним... мы все живем без достаточного к тому основания...

— Но лучше б вам, молодой человек, удалиться от нас, – посоветовал учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами.

Тот ничего не ответил и остался. Потом к нему привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них и все замечал.

Перечисленные субъекты составляли главный штаб ротмистра; он, с добродушной иронией, называл их «бывшими людьми». Кроме них, в ночлежке постоянно обитало человек пять-шесть рядовых босяков. Они не могли похвастаться таким прошлым, как «бывшие люди», и хотя не менее их испытали превратностей судьбы, но являлись более цельными людьми, не так страшно изломанными. Почти все они — «бывшие мужики». Быть может, порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни.

Видным представителем бывших мужиков являлся старик тряпичник Тяпá. Длинный и безобразно худой, он держал голову так, что подбородок упирался ему в грудь, и от этого его тень напоминала своей формой кочергу. В фас лица его не было видно, в профиль можно было видеть только горбатый нос, отвисшую нижнюю губу и мохнатые седые брови. Он был первым по времени постояльцем ротмистра, про него говорили, что где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих денег года два тому назад его «шаркнули» ножом по шее, и с той поры он наклонил голову. Он отрицал, что у него есть деньги, говоря: «Шаркнули просто так, озорство», и что с той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости — голова постоянно наклонена к земле. Когда он шел качающейся, неверной походкой, без палки в руках и без мешка за спиной — он казался человеком задумавшимся, а Кувалда в такие моменты говорил, указывая на него пальцем:

— Смотрите, вот ищет себе пристанища совесть купца Иуды Петунникова, удравшая от него в бега. Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная!

Говорил Тяпá хрипящим голосом, трудно было понимать его речь, и, должно быть, поэтому он вообще мало говорил и очень любил уединение. Но каждый раз, когда в ночлежку являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпá при виде его впадал в озлобление и беспокойство. Он преследовал несчастного едкими насмешками, со злым хрипом выходившими из его горла, натравливал на новичка кого-нибудь, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный мужичок исчезал из ночлежки.

Тогда Тяпá успокоенный, забивался куда-нибудь в угол, где чинил свои лохмотья или читал библию, такую же старую и грязную, как сам он. Он вылезал из своего угла, когда учитель читал газету. Тяпá молча слушал все, что читалось, и глубоко вздыхал, ни о чем не спрашивая. Но когда, прочитав газету, учитель складывал ее, Тяпá протягивал свою костлявую руку и говорил:

— Дай-ка...

— На что тебе?

— Дай, — может, про нас есть что...

— Про кого это?

— Про деревню.

Над ним смеялись, бросали ему газету. Он брал ее и читал в ней о том, что в одной деревне градом побил хлеб, в другой сгорело тридцать дворов, а в третьей баба отравила мужа, — все, что принято писать о деревне и что рисует ее несчастной, глупой и злой. Тяпá читал и мычал, выражая этим звуком, быть может, сострадание, быть может, удовольствие.

В воскресенье он не выходил за сбором тряпок, почти весь день читая библию. Книгу он держал, упирая ее в грудь себе, и сердился, если кто-нибудь трогал ее или мешал ему читать.

— Эй ты, чернокнижник, – говорил ему Кувалда, – что ты понимаешь? Брось!

— А что ты понимаешь?

— И я ничего не понимаю, но я ведь не читаю книг...

— А я читаю...

— Ну, и — глуп! – решал ротмистр. – Когда в голове заведутся насекомые — это беспокойно, но если в нее заползут еще и мысли — как же ты будешь жить, старая жаба?

— Мне недолго уж, – говорил спокойно Тяпá.

Однажды учитель захотел узнать, где он выучился грамоте. Тяпá кратко ответил ему:

— В тюрьме...

— Ты был там?

— Был...

— За что?

— Так... ошибся... Вот и библию оттуда вынес. Барыня одна дала... В тюрьме-то, брат, хорошо...

— Н-ну? Чем это?

— Вразумляет... Грамоте вот научился книгу достал... Все — даром...

Когда в ночлежку явился учитель, Тяпá уже давно жил в ней. Он долго присматривался к учителю, — чтобы посмотреть в лицо человеку, Тяпá сгибал весь свой корпус набок, — долго прислушивался к его разговорам и как-то раз подсел к нему.

— Вот — ты ученый был... Библию-то читал?

— Читал...

— То-го... Помнишь ее?

— Ну — помню...

Старик согнул корпус набок и посмотрел на учителя серым, сурово-недоверчивым глазом.

— Помнишь, были там амаликитяне?

— Ну?

— Где они теперь?

— Исчезли, Тяпá, — вымерли...

Старик помолчал и снова спросил:

— А филистимляне?

— И эти тоже...

— Все вымерли?

— Все...

— Так... А мы тоже вымерем?

— Придет время — и мы вымерем, – равнодушно обещал учитель.

— А от которого мы из колен Израилевых?

Учитель посмотрел на него, подумал и стал рассказывать о киммерийцах, скифах, славянах... Старик еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрел на него.

— Врешь ты все! – захрипел он, когда учитель кончил.

— Почему вру? – изумился тот.

— Какие ты народы назвал? Нет их в библии.

Встал и пошел прочь, злобно ворча.

— Из ума ты выживаешь, Тяпá, – убежденно сказал вслед ему учитель.

Тогда старик снова обернулся к нему и погрозил ему крючковатым, грязным пальцем.

— От господ — Адам, от Адама — евреи, значит все люди от евреев... И мы тоже...

— Ну?

— Татары от Измаила... а он от еврея...

— Да тебе-то чего надо?

— Зачем врешь?

И ушел, оставив своего собеседника в недоумении. Но дня через два снова подсел к нему.

— Был ты ученый... должен знать — кто мы?

— Славяне, Тяпá, – ответил учитель.

— Говори по библии — там таких нет. Кто мы — вавилоняне, что ли? Или — эдом?

Учитель пустился в критику библии. Старик долго, внимательно слушал его и перебил:

— Погоди, — брось! Значит, в народах, богу известных, — русских нет? Неизвестные мы богу люди? Так ли? Которые в библии записаны — господь тех знал... Сокрушал их огнем и мечом, разрушал города и села их, а пророков посылал им для поучения, — жалел, значит. Евреев и татар рассеял, но сохранил... А мы как же? Почему у нас пророков нет?

— Н-не знаю! – протянул учитель, стараясь понять старика. А он положил руку на плечо учителя, стал тихонько толкать его взад и вперед и захрипел, будто глотая что-то...

— Так и скажи!.. А то говоришь ты много, — будто все знаешь. Слушать мне тебя тошно... душу ты мутишь... Молчал бы лучше!.. Кто мы? То-то! Почему у нас нет пророков? А где мы были, когда Христос по земле ходил? Видишь? Эх ты! И врешь — разве целый народ может умереть? Народ русский не может исчезнуть — врешь ты... он в библии записан, только неизвестно под каким словом... Ты народ-то знаешь, — какой он? Он — огромный... Сколько деревень на земле? Все народ там живет, — настоящий, большой народ. А ты говоришь — вымрет... Народ не может умереть, человек может... а народ нужен богу, он строитель земли. Амаликитяне не умерли — они немцы или французы... а ты... эх ты!.. Ну, скажи вот, почему мы богом обойдены? Нету нам ни казней, ни пророков от господя? Кто нас научит?..

Речь Тяпý была сильна; насмешка, укоризна и глубокая вера звучали в ней. Он долго говорил, и учителю, который, по обыкновению, был выпивши и в минорном настроении, стало наконец так скверно слушать его, точно его распиливали деревянной пилой. Он слушал старика, смотрел на его исковерканное тело, чувствовал странную, давившую силу слов, и вдруг ему стало до боли жалко себя. Ему тоже захотелось сказать старику что-нибудь сильное, уверенное, что-нибудь такое, что расположило бы Тяпý в его пользу, заставило бы говорить не этим укоризненно-суровым тоном, а — мягким, отечески-ласковым. И учитель ощущал, как в груди у него что-то клокочет, подступает ему к горлу.

— Какой ты человек?.. Душа у тебя изорванная... а говоришь! Будто что знаешь... Молчал бы...

— Эх, Тяпá, – тоскливо воскликнул учитель, — это — верно! И народ — верно!.. Он огромный. Но — я ему чужой... и — он мне чужой... Вот в чем трагедия. Но — пускай! Буду страдать... И пророков нет... нет!.. Я действительно говорю много... и это не нужно никому... но — я буду молчать... Только ты не говори со мной так... Эх, старик! ты не знаешь... не знаешь... не можешь понять...

Учитель заплакал наконец. Он заплакал легко и свободно, обильными слезами, ему стало приятно от этих слез.

— Шел бы ты в деревню, – просился бы там в учителя или в писаря... был бы сыт и проветрился бы. А то чего маешься? – сурово хрипел Тяпá.

А учитель все плакал, наслаждаясь слезами.

С этих пор они стали друзьями, и бывшие люди, видя их вместе, говорили:

— Учитель охаживает Тяпý, к деньгам его держит курс.

— Это его Кувалда подучил разведать, где стариковы капиталы...

Могло быть, говоря так, думали иначе. У этих людей была одна смешная черта: они любили показать себя друг другу хуже, чем были на самом деле.

Человек, не чувствуя в себе ничего хорошего, иногда не прочь порисоваться и своим дурным.

Когда все эти люди соберутся вокруг учителя с его газетой — начинается чтение.

— Ну-с, — говорит ротмистр, — о чем сегодня рассуждает газетина? Фельетон есть?

— Нет, — сообщает учитель.

— Жадничает издатель... а передовица имеется?

— Есть... Гуляева.

— Ага! Валяй ее; он, шельма, толково пишет, гвоздь ему в глаз.

— «Оценка недвижимых имуществ, — читает учитель, — произведенная более пятнадцати лет тому назад, и поныне продолжает служить основанием ко взиманию оценочного, в пользу города, сбора...»

— Это наивно, — комментирует ротмистр Кувалда, — продолжает служить! Это смешно! Купцу, ворочающему делами города, выгодно, чтоб она продолжала служить, ну, она и продолжает...

— Статья и написана на эту тему, — говорит учитель.

— Странно! Это фельетонная тема... об этом нужно писать с перцем...

Возгорается маленький спор. Публика слушает его внимательно, ибо водки выпита пока только одна бутылка. После передовой читают местную хронику, потом судебную. Если в этих криминальных отделах действующим и страдающим лицом является купец — Аристид Кувалда искренне ликует. Обворовали купца — прекрасно, только жаль, что мало. Лошади его разбили — приятно слышать, но прискорбно, что он остался жив. Иск в суде проиграл купец — великолепно, но печально, что судебные издержки не возложили на него в удвоенном количестве.

— Это было бы незаконно, — замечает учитель.

— Незаконно? Но законен ли сам купец? — спрашивает Кувалда. — Что есть купец? Рассмотрим это грубое и нелепое явление: прежде всего каждый купец — мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец — мошенник-мужик!

— Ловко! — одобряет публика вывод оратора.

А Тяпá мычит, потирая себе грудь. Так же точно он мычит, когда с похмелья выпивает первую рюмку водки. Ротмистр сияет. Читают корреспонденции. Тут для ротмистра — «разливанное море», по его словам. Он всюду видит, как купец скверно делает жизнь и как он портит сделанное до него. Его речи громят и уничтожают купца. Его слушают с удовольствием, потому что он — зло ругается.

— Если б я писал в газетах! — восклицает он. — О, я бы показал купца в его настоящем виде... я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает.

Объедок, зная слабую струну ротмистра и любя злить людей, ехидно вставляет:

— Да, с той поры, как дворяне начали помирать с голода, — исчезают люди из жизни...

— Ты прав, сын паука и жабы; да, с той поры, как дворяне пали, — людей нет! Есть только купцы... и я их не-на-ви-жу!

— Оно и понятно, потому что и ты, брат, погран во прах ими же...

— Я? Я погиб от любви к жизни, — дурак! Я жизнь любил, а купец ее обирает. Я не выношу его именно за это, — а не потому, что я дворянин. Я, если хочешь знать, не дворянин, а бывший человек. Мне теперь наплевать на все и на всех... и вся жизнь для меня — любовница, которая меня бросила, за что я презираю ее.

— Врешь! — говорит Обьедок.

— Я вру? — орет Аристид Кувалда, красный от гнева.

— Зачем кричать? — раздается холодный и мрачный бас Мартьянова. — Зачем рассуждать? Купец, дворянин — нам какое дело?

— Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку... — вставляет дьякон Тарас.

— Отстаньте, Обьедок, — примирительно говорит учитель. — Зачем солить селедку?

Он не любит спора и вообще не любит шума. Когда вокруг разгораются страсти, его губы складываются в болезненную гримасу, он рассудительно и спокойно старается помирить всех со всеми, а если это не удается ему, уходит от компании. Зная это, ротмистр, если он не особенно пьян, сдерживается, не желая терять в лице учителя лучшего слушателя своих речей.

— Я повторяю, — более спокойно продолжает он, — я вижу жизнь в руках врагов, не врагов только дворянина, но врагов всего благородного, алчных, неспособных украсить жизнь чем-либо...

— Однако, брат, — говорит учитель, — купцы создали Геную, Венецию, Голландию, купцы Англии завоевали своей стране Индию, купцы Строгановы...

— Какое мне дело до тех купцов? Я имею в виду Иуду Петунникова и иже с ним...

— А до этих тебе какое дело? — тихо спрашивает учитель.

— А — разве я не живу? Ага! Живу, — значит, должен негодовать при виде того, как жизнь портят дикие люди, полонившие ее.

— И смеются над благородным негодованием ротмистра и человека в отставке, — задирает Обьедок.

— Хорошо! Это глупо, я согласен... Как бывший человек, я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно... Но чем же я и все вы, — чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

— Вот ты начинаешь говорить умно, — поощряет его учитель.

— Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое, новое... ибо и мы в жизни — новость...

— Несомненно, нам нужно это, — говорит учитель.

— Зачем? — спрашивает Конец. — Не все ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят... моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такую жизнью.

— И какая мы новость? — усмехается Обьедок. — Гольтепа всегда была.

— И она создала Рим, — говорит учитель.

— Да, конечно, — ликует ротмистр, — Ромул и Рем — разве они не золоторотцы? И мы — придет наш час — создадим...

— Нарушение общественной тишины и спокойствия, — перебивает Обьедок. Он хохочет, довольный собой. Смех у него скверный, разъедающий душу. Ему вторит Симцов, дьякон, Полтора Тараса. Наивные глаза мальчишки Метеора горят ярким огнем, и щеки у него краснеют. Конец говорит, точно молотом бьет по головам:

— Все это глупости, — мечты, — ерунда!

Странно было видеть так рассуждающими этих людей, изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью.

Для ротмистра такие беседы были положительно праздником сердца. Он говорил больше всех, и это давало ему возможность считать себя лучше всех. А как бы низко ни пал человек — он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, — хотя бы даже только сытее своего ближнего. Аристид Кувалда злоупотреблял

этим наслаждением, но не пресыщался им, к неудовольствию Объедка, Кубаря и других бывших людей, мало интересовавшихся подобными вопросами.

Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в этом вопросе верх всегда брал Объедок, сочинявший изумительно жестокие проекты, и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы. Охотно, много и скверно говорили о женщинах, но в защиту их всегда выступал учитель, сердившийся, если очень уж пересаливали. Ему уступали, ибо все смотрели на него как на человека недюжинного — и у него, по субботам, занимали деньги, заработанные им за неделю.

Он вообще пользовался многими привилегиями: его, например, не били в тех нередких случаях, когда беседа заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было разрешено приводить в ночлежку женщин; больше никто не пользовался этим правом, ибо ротмистр всех предупреждал:

— Баб ко мне не водить... Бабы, купцы и философия — три причины моих неудач. Изобью, если увижу кого-нибудь, явившегося с бабой!.. Бабу тоже изобью... За философию — оторву голову...

Он мог оторвать голову — несмотря на свои года, он обладал удивительной силой. Затем, каждый раз, когда он дрался, ему помогал Мартьянов. Мрачный и молчаливый, точно надгробный памятник, во время общего боя он всегда становился спиной к спине Кувалды, и тогда они изображали собой все сокрушавшую и несокрушимую машину.

Однажды пьяный Симцов ни за что ни про что вцепился в волосы учителя и выдрал клочок их. Кувалда ударом кулака в грудь уложил его на полчаса в обморок, а когда он очнулся, заставил его съесть волосы учителя. Тот съел, боясь быть избитым до смерти.

Кроме чтения газеты, разговоров и драк, развлечением служила еще игра в карты. Играли без Мартьянова, ибо он не мог играть честно, о чем, после нескольких уличений в мошенничестве, сам же откровенно и заявил:

— Я не могу не передергивать... Это у меня привычка.

— Бывает, — подтвердил дьякон Тарас. — Я привык дьяконицу свою по воскресеньям после обедни бить; так, знаете, когда умерла она — такая тоска на меня по воскресеньям нападала, что даже невероятно. Одно воскресенье прожил — вижу, плохо! Другое — стерпел. Третье — кухарку ударил раз... Обиделась она... Подам, говорит, мировому. Представьте себе мое положение! На четвертое воскресенье — вздул ее, как жену! Потом заплатил ей десять целковых и уж бил по заведенному порядку, пока опять не женился...

— Дьякон, — врешь! Как ты мог в другой раз жениться? — оборвал его Объедок.

— А? А я так — она у меня за хозяйством смотрела.

— У вас были дети? — спросил его учитель.

— Пять штук... Один утонул. Старший, — забавный был мальчишка! Двое умерли от дифтерита... Одна дочь вышла замуж за какого-то студента и поехала с ним в Сибирь, а другая захотела учиться и умерла в Питере... от чахотки, говорят... Д-да... пять было... как же! Мы, духовенство, плодовитые...

Он стал объяснять, почему это именно так, возбуждая гомерический хохот своим рассказом. Когда хохотать устали, Алексей Максимович Симцов вспомнил, что у него тоже была дочь.

— Лидкой звали... Толстая такая...

И больше он, должно быть, не помнил ничего, потому что посмотрел на всех, улыбнулся виновато и — умолк.

О своем прошлом эти люди мало говорили друг с другом, вспоминали о нем крайне редко, всегда в общих чертах и в более или менее насмешливом тоне. Пожалуй, что такое отношение к прошлому и было умно, ибо для большинства людей память о прошлом ослабляет энергию в настоящем и подрывает надежды на будущее.

А в дождливые, серые, холодные дни осени бывшие люди собирались в трактире Вавилова. Там их знали, немножко боялись, как воров и драчунов, немножко презирали, как горьких пьяниц, но все-таки уважали и слушали, считая умными людьми. Трактир Вавилова был клубом Въезжей улицы, а бывшие люди — интеллигенцией клуба.

По субботам — вечерами, в воскресенье — с утра до ночи — трактир был полон, и бывшие люди являлись в нем желанными гостями. Они вносили с собой в среду забитых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то, облегчавшее жизнь людей, истомленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды, и так же сброшенных из города, как и они. Уменьше обо всем говорить и все осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная, бравирующая удаль этих людей — не могли не нравиться улице. Затем, почти все они знали законы, могли дать любой совет, написать прошение, помочь безнаказанно смошенничать. За все это им платили водкой и лестным удивлением пред их талантами.

По своим симпатиям улица делилась на две, почти равные, партии: одна полагала, что «ротмистр — куда забористей учителя, настоящий воин! Храбрость и ум у него большущие!» Другая была убеждена, что учитель во всех отношениях «перевесил» Кувалду. Поклонниками Кувалды являлись те из мещанства, которые были известны в улице как записные пьяницы, воры и сорвиголовы, для которых путь от суммы до тюрьмы был неизбежен. Учителя уважали люди более степенные, на что-то надеявшиеся, чего-то ожидавшие, вечно чем-то занятые и редко сытые.

Характер отношений Кувалды и учителя к улице точно определился следующим примером. Однажды в трактире обсуждалось постановление городской думы, коим обыватели Въезжей улицы обязывались: рытвины и промоины в своей улице засыпать, но навоза и трупов домашних животных для сей цели не употреблять, а применять к делу только щебень и мусор с мест постройки каких-либо зданий.

— Откуда же я должен взять этот самый щебень, ежели я за всю свою жизнь одну только скворечницу хотел строить, да и то вот еще не собрался? — жалобно заявил Мокей Анисимов, человек, промышлявший торговлей третьими калачами, которые пекла его жена.

Ротмистр нашел, что ему следует высказаться по данному вопросу, и грохнул кулаком по столу, привлекая к себе внимание.

— Откуда взять щебень и мусор? Иди, ребята, всей улицей в город и разбирай думу. Больше она по своей ветхости ни на что не годится. Таким образом, вы дважды послужите украшению города — и Въезжую сделаете приличной, и новую думу заставите построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да захватите и его трех дочек — девицы для упряжи вполне годные. А то разружьте дом купца Иуды Петунникова и вымостите улицу деревом. Кстати, я знаю, Мокей, на чем твоя жена сегодня калачи пекла: на ставнях с третьего окна и двух ступеньках с крыльца Иудина дома.

Когда публика вдоволь нахохоталась, степенный огородник Павлюгин спросил:

— А как же все-таки быть-то, ваше благородие?..

— Ни рукой, ни ногой не двигать! Размывает улицу — ну и пускай!

— Некоторые дома попадать хотят...

— Не мешайте им, пускай падают! Упадут — дери с города вспомоществование: не даст — валяй к нему иск! Вода-то откуда течет? Из города? Ну, город и виновен в разрушении домов...

— Вода — от дождя, скажут...

— Да ведь в городе дома от дождя не валятся? Он с вас налоги дерет, а голоса вам для разговора о ваших правах не дает! Он вам жизнь и имущество портит, да вас же и чинить заставляет! Катай его спереди и сзади!

И половина улицы, убежденная радикалом Кувалдой, решила ждать, когда ее домишки смоет дождевой водой из города.

Более степенные люди нашли в учителе человека, который составил им убедительную реляцию думе.

В этой реляции отказ улицы выполнить постановление думы был мотивирован настолько солидно, что дума вяла. Улице разрешили воспользоваться мусором, оставшимся от ремонта казарм, и дали ей для возки пять лошадей пожарного обоза. Даже более — признали необходимым проложить со временем по улице сточную трубу. Это и многое другое создало учителю широкую популярность в улице. Он писал прошения, печатал заметки в газетах. Так, например, однажды гости Вавилова заметили, что селедки и другие снеди в трактире Вавилова совершенно не соответствуют своему назначению. И вот дня через два Вавилов, стоя за буфетом с газетой в руках, публично каялся:

— Справедливо — одно могу сказать! Действительно, селедки купил я ржавые, не совсем хорошие селедки. И капуста — верно!.. задумалась она немножко. Известно, ведь каждый человек хочет как можно больше в свой карман пятаков нагнать. Ну, и что же? Вышло совсем наоборот: я — посягнул, а умный человек предал меня позору за жадность мою... Квит!

Это покаяние произвело на публику очень хорошее впечатление и дало возможность Вавилону скормить ей и селедку и капусту, — все это публика, под приправой своего впечатления, незаметно скушала. Факт весьма значительный, ибо он не только увеличивал престиж учителя, но и знакомил обывателя с силой печатного слова. Случалось, что учитель читал в трактире лекции практической морали.

— Видел я, — говорил он, обращаясь к маляру Яшке Тюрину, — видел я, как ты бил свою жену...

Яшка уже «подмалевался» двумя стаканами водки и находится в ухарски развязном настроении. Публика смотрит на него, ожидая, что вот сейчас он «выкинет коленце», и в харчевне воцаряется тишина.

— Видел? Понравилось? — спрашивает Яшка.

Публика сдержанно смеется.

— Нет, не понравилось, — отвечает учитель. Тон его так внушительно серьезен, что публика молчит.

— Кажись бы, я старался, — бравирует Яшка, предчувствующий, что учитель его «срежет». — Жена довольна, — не встает сегодня...

Учитель задумчиво на столе пальцем чертит какие-то фигуры, и, разглядывая их, говорит:

— Видишь ли, Яков, почему мне не нравится это... Разберем основательно, что именно ты делаешь и чего можно тебе от этого ждать. Жена у тебя беременна; ты бил ее вчера по животу и по бокам — значит, ты бил не только ее, но и ребенка. Ты мог его убить, и при родах жена твоя умерла бы от этого или сильно захворала. Возиться с больной женой и неприятно и хлопотно, и дорого это будет тебе стоить, потому что болезни требуют лекарств, а лекарства — денег. Если же ты ребенка не убил еще, то, наверное, изувечил, и он, быть может, родится уродом: кривобоким, горбатым. Значит, он не будет способен к работе, а для тебя важно, чтобы он был работником. Даже если он родится только больным — и то скверно: свяжет мать и потребует лечения. Видишь ли, что ты себе готовишь? Люди, живущие трудом своих рук, должны рождаться здоровыми и рожать здоровых детей... Верно я говорю?

— Верно, — подтверждает публика.

— Ну, это, чай, тово, — не случится! — говорит Яшка, несколько робея перед перспективой, нарисованной учителем. — Она здоровая... сквозь ее до ребенка не дойдешь,

поди-ка? Ведь она, дьявол, больно уж ведьма! – восклицает он с огорчением. – Чуть я что, — и пойдет меня есть, как ржа железа!

— Я понимаю, Яков, что тебе нельзя не бить жену, – снова раздаётся спокойный и вдумчивый голос учителя, – у тебя на это много причин... Не характер твоей жены причина того, что ты ее так неосторожно бьешь... а вся твоя темная и печальная жизнь...

— Вот это верно, – восклицает Яков, – живем действительно в темноте, как у трубочиста за пазухой.

— Ты злишься на всю жизнь, а терпит твоя жена... самый близкий к тебе человек — и терпит без вины перед тобой, — только потому, что ты ее сильнее; она у тебя всегда под рукой, и деваться ей от тебя некуда. Видишь, как это... нелепо!

— Оно так... черт ее возьми! Да ведь что же мне делать-то? Али я не человек?

— Так, ты человек!.. Ну, вот я тебе хочу сказать: бить ты ее бей, если без этого не можешь, но бей осторожно: помни, что можешь повредить ее здоровью или здоровью ребенка. Никогда вообще не следует бить беременных женщин по животу, по груди и бокам — бей по шее или возьми веревку и... по мягким местам...

Оратор кончил свою речь, и его глубоко ввалившиеся темные глаза смотрят на публику и, кажется, в чем-то извиняются перед ней и о чем-то виновато спрашивают ее.

Она же оживленно шумит. Ей понятна эта мораль бывшего человека, — мораль кабака и несчастья.

— Что, брат Яша, понял?

— Вот она какая правда-то бывает!

Яков понял: неосторожно бить жену — вредно для него.

Он молчит, отвечая смущенными улыбками на шутки товарищей.

— И опять же, что такое жена? – философствует калачник Мокей Анисимов. – Жена — друг, ежели правильно вникнуть в дело. Она к тебе вроде как цепью на всю жизнь прикована, и оба вы с ней на манер каторжников. Старайся идти с ней стройно в ногу, не сумеешь — цепь почувешь...

— Погоди, – говорит Яков, – ведь и ты свою бьешь?

— А я разве говорю — нет? Бью... Иначе невозможно... Кого же мне — стену, что ли, дуть кулаками, когда невтерпеж приходит?

— Ну вот, и я тоже... – говорит Яков.

— Ну, какая же у нас жизнь тесная и аховая, братцы мои! Нет тебе нигде настоящего размаха!

— И даже жену бей с оглядкой! – юмористически скорбит кто-то. Так они беседуют до поздней ночи или до драки, возникающей на почве опьянения и тех настроений, какие навевают на них эти беседы.

За окнами трактира дождь идет, дико воеет холодный ветер. В трактире душно, накурено, но тепло; на улице мокро, холодно и темно. Ветер так стучит в окно, точно дерзко вызывает всех этих людей из трактира и грозит разнести их по земле, как пыль. Иногда в его вое слышится подавленный, безнадежный стон и потом раздается холодный, жесткий хохот. Эта музыка наводит на унылые мысли о близости зимы, о проклятых коротких днях без солнца, о длинных ночах, о необходимости иметь теплую одежду и много есть. На пустой желудок так плохо спится в бесконечные зимние ночи. Идет зима, идет... Как жить?

Невеселые думы вызвали усиленную жажду обывателей Вьезжей, у бывших людей увеличивалось количество вздохов в их речах и количество морщин на лицах, голоса становились глуше, отношения друг к другу тупее. И вдруг среди них вспыхивала зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой.

Тогда они били друг друга; били жестоко, зверски; били и снова, помирившись, напивались, пропивая все, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилон.

Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы.

Кувалда в такие времена приходил к ним на помощь с философией.

— Не горюй, братцы! Все имеет свой конец — это самое главное достоинство жизни. Пройдет зима, и снова будет лето... Славное время, когда, говорят, и у воробья — пиво.

Но его речи не действовали — глоток самой чистой воды не насытит голодного.

Дьякон Тарас тоже пробовал развлечь публику, распевая песни и рассказывая свои сказки. Он имел более успеха. Иногда его усилия приводили к тому, что вдруг отчаянное, удалое веселие вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных.

Потом снова впадали в тупое, равнодушное отчаяние, сидя за столами в копоти ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая вой ветра и думая о том, как бы напиться, напиться до потери чувств?

И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех.

II

Все относительно на этом свете, и нет в нем для человека такого положения, хуже которого не могло бы ничего быть.

Однажды в конце сентября, ясным днем, ротмистр Аристид Кувалда сидел, по обыкновению, в своем кресле у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцом Петунниковым каменное здание рядом с трактиром Вавилова, думал.

Здание, еще окруженное лесами, предназначалось под свечной завод и давно уже кололо глаза ротмистру пустыми, темными впадинами длинного ряда окон и паутиной дерева, окружавшей его от основания до крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на какую-то жестокую машину, еще не действующую, но уже разинувшую ряд глубоких, жадно зияющих пастей и готовую что-то жевать и пожирать. Серый деревянный трактир Вавилова, с кривой крышей, поросшей мхом, оперся на одну из кирпичных стен завода и казался большим паразитом, присосавшимся к ней.

Ротмистр думал о том, что скоро и на месте старого дома начнут строить. Сломают и ночлежку. Придется искать другое помещение, а такого удобного и дешевого не найдешь. Жалко, грустно уходить с насиженного места. Уходить же придется только потому, что некий купец пожелал производить свечи и мыло. И ротмистр чувствовал, что если б ему представился случай чем-нибудь хоть на время испортить жизнь этому врагу, — о! с каким наслаждением он испортил бы ее!

Вчера купец Иван Андреевич Петунников был на дворе ночлежки с архитектором и своим сыном. Измеряли двор и всюду натыкали в землю каких-то палочек, которые, по уходе Петунникова, ротмистр приказал Метеору вытаскать из земли и разбросать.

Перед глазами ротмистра стоял этот купец — маленький, сухонький, в длиннополом одеянии, похожем одновременно на сюртук и на поддевку, в бархатном картузе и высоких, ярко начищенных сапогах. Костлявое, скуластое лицо, с седой, клинообразной бородкой, с высоким, изрезанным морщинами лбом, и из-под него сверкают узкие, серые глазки, прищуренные, всегда что-то высматривающие. Острый хрящеватый нос, маленький рот с тонкими губами. В общем, у купца вид благочестиво хищный и почтенно злой.

«Проклятая помесь лисицы и свиньи!» — выругался про себя ротмистр и вспомнил первую фразу Петунникова, касавшуюся его. Купец пришел с членом городской управы покупать дом и, увидев ротмистра, спросил у своего провожатого бойким костромским говором:

— Энто тот самый огарок — квартирант-от ваш?

И с той поры вот уже почти полтора года они состязаются друг с другом в своем уменье оскорблять человека.

И вчера между ними произошло легонькое «упражнение в буесловии», как называл ротмистр свои разговоры с купцом. Проводив архитектора, купец подошел к ротмистру.

— Сидишь? – спросил он, дергая рукой за козырек картуза, так что нельзя было понять, поправляет ли он его, или же хочет изобразить поклон.

— Мыкаешься? – в тон ему сказал ротмистр и сделал движение нижней челюстью, отчего борода его вздрогнула и что нетребовательный человек мог принять за поклон или за желание ротмистра пересунуть свою трубку из одного угла рта в другой.

— Денег у меня много — вот и мыкаюсь. Деньги хотят, чтоб их в жизнь пускали, вот я и даю им ход, – дразнит ротмистра купец, лукаво прищуривая глазки.

— Не тебе, значит, рубль служит, а ты рублю, – комментирует Кувалда, борясь с желанием дать пинка в живот купцу.

— Али это не все равно? С ними, с деньгами-то, всяко приятно... А вот ежели без них...

И купец с нахально подделанным состраданием оглядывает ротмистра. У того верхняя губа прыгает, обнажая крупные волчьи зубы.

— Имея ум и совесть, можно жить и без них... Деньги, обыкновенно, являются как раз в то время, когда у человека совесть усыхать начинает Совесть меньше — денег больше...

— Это верно... А то есть люди, у которых ни денег, ни совести...

— Ты смолоду-то таким и был? – простодушно спрашивает Кувалда. Теперь у Петунникова вздрагивает нос. Иван Андреевич вздыхает, щурит глазки и говорит:

— Мне смолоду о-ох большие тяжести поднять пришлось!

— Я думаю....

— Работал я, ох как работал!

— А многих обработал?

— Таких, как ты? Дворян-то? Ничего, — достаточно их от меня Христовой молитве выучились...

— Не убивал, только грабил? – режет ротмистр. Петунников зеленеет и находит нужным изменить тему.

— А хозяин ты плохой — сидишь, а гость стоит...

— Пусть и он сядет, – разрешает Кувалда.

— Да не на что, вишь...

— На землю... земля всякую дрянь принимает...

— Я это по тебе вижу... Однако пойти от тебя, ругателя, – ровно и спокойно сказал Петунников, но глаза его излили на ротмистра холодный яд.

Он ушел, оставив Кувалду в приятном сознании, что купец боится его. Если б он не боялся, так уже давно бы выгнал из ночлежки. Не из-за пяти же рублей в месяц он не гонит его! Потом ротмистр следит, как купец ходит вокруг своего завода, ходит по лесам вверх и вниз. Ему очень хочется, чтоб купец упал и изломал себе кости. Сколько уже он создал остроумных комбинаций падения и всяческих увечий, глядя на Петунникова, лазившего по лесам, как паук по своей сетке. Вчера ему даже показалось, что вот одна доска дрогнула под ногами купца, и ротмистр в волнении вскочил со своего места.... Но — ничего не вышло.

И сегодня, как всегда, перед глазами Аристида Кувалды торчит это красное здание, прочное, плотное, крепко вцепившееся в землю, точно уже высасывающее из нее соки. Кажется, что оно холодно и темно смеется над ротмистром зияющими дырами своих стен. Солнце пьет на него свои осенние лучи так же щедро, как и на уродливые домики Въезжей улицы.

«А вдруг! – мысленно воскликнул ротмистр, измеряя глазами стену завода. – Ах ты, черт возьми! Если бы...» Весь востропавшись, возбужденный своей мыслью, Аристид Кувалда вскочил и торопливо пошел в трактир Вавилова, улыбаясь и бормоча что-то про себя.

Вавилов встретил его за буфетом дружеским восклицанием:

— Вашему благородию здравия желаем!

Среднего роста, с лысой головой, в венчике седых кудрявых волос, с бритыми щеками и с прямо торчащими усами, похожими на зубные щетки, прямой и ловкий, в кожаной куртке, он каждым своим движением позволял узнать в нем старого унтер-офицера.

— Егор! У тебя вводный лист и план на дом есть? – торопливо спросил Кувалда.

— Имею.

Вавилов подозрительно сузил свои вороватые глаза и пристально уставился ими в лицо ротмистра, в котором он видел что-то особенное.

— Покажи мне! – воскликнул ротмистр, стучая кулаком по стойке и опускаясь на табурет около нее.

— А зачем? – спросил Вавилов, решившийся при виде возбуждения Кувалды держать ухо востро.

— Болван, неси скорей!

Вавилов наморщил лоб и испытующе поднял глаза к потолку.

— Где они у меня, эти самые бумаги?

На потолке не нашлось никаких указаний по этому вопросу; тогда унтер устремил глаза на свой живот и с видом озабоченной задумчивости стал барабанить пальцем по стойке.

— Будет тебе кобениться, – прикрикнул на него ротмистр, не любивший его, находя, что бывшему солдату привычнее быть вором, чем трактирщиком.

— Да я, Ристид Фомич, уж вспомнил. Кажись, они в окружном суде остались. Как я вводился во владение...

— Егорка, брось! Ввиду твоей же пользы, покажи мне сейчас план, купчую и все, что есть. Может быть, ты не одну сотню рублей выиграешь от этого — понял?

Вавилов ничего не понял, но ротмистр говорил так внушительно, с таким серьезным видом, что глаза унтера загорелись любопытством, и, сказав, что посмотрит, нет ли этих бумаг у него в укладке, он ушел в дверь за буфетом. Через две минуты он возвратился с бумагами в руках и с выражением крайнего изумления на роже.

— Ан они, проклятые, дома!

— Эх ты... паяц из балагана! А еще солдат был... – не преминул укорить его Кувалда, выхватив из его рук коленкоровую папку с синей актовой бумагой. Затем, развернув перед собой бумаги и все более возбуждая любопытство Вавилова, ротмистр стал читать, рассматривать и при этом многозначительно мычал. Вот наконец он решительно встал и пошел к двери, оставив бумаги на стойке и кинув Вавилову:

— Погоди... не прячь их...

Вавилов собрал бумаги, положил их в ящик выручки, запер его и подергал рукой — хорошо ли заперлось? Потом он, задумчиво потирая лысину, вышел на крыльцо харчевни. Там он увидал, что ротмистр, измерив шагами фасад харчевни, щелкнул пальцами и снова начал измерять ту же линию, озабоченный, но довольный.

Лицо Вавилова как-то напрягалось, потом вытянулось, потом вдруг радостно просияло.

— Ристид Фомич! Неужто? – воскликнул он, когда ротмистр поравнялся с ним.

— Вот те и неужто! Больше аршина отрезано. Это по фасаду, а вглубь сейчас узнаю...

— Вглубь?.. Десять сажень два аршина!

— Что, догадался, бритая харя?

— Как же, Ристид Фомич! Ну и глазок у вас — в землю вы на три аршина видите! — с восхищением воскликнул Вавилов.

Через несколько минут они сидели друг против друга в комнате Вавилова, и ротмистр, большими глотками уничтожая пиво, говорил трактирщику:

— Итак, вся стена завода стоит на твоей земле. Действуй без всякой пощады. Придет учитель, и мы накатаем прошение в окружной. Цену иска, чтобы не тратиться на гербовые, назначим самую скромную, а просить будем о сломке. Это, дурак ты мой, называется нарушением границ чужого владения, — очень приятное событие для тебя! Ломай! А ломать такую махину да подвигать ее — дорого стоит! Мировую! Тут ты и прижми Иуду. Мы рассчитаем, сколько будет стоить сломка самым точным образом — с битым кирпичом, с ямой под новый фундамент, — все высчитаем! Даже время примем в счет! И — позвольте, Иуда, две ты-ся-чи рублей!

— Не даст! — тревожно моргая глазами, сверкавшими жадным огнем, вытянул Вавилов.

— Врет! Даст! Ты пошевели мозгами — что ему делать? Ломать? Но — смотри, Егорка, не продешеви! Покупать тебя будут — не продавайся дешево! Пугать будут — не бойся! Положись на нас...

Глаза у ротмистра горели свирепой радостью, и лицо, красное от возбуждения, судорожно подергивалось. Он разжег алчность трактирщика и, убедив его действовать возможно скорее, ушел торжествующий и непреклонно свирепый.

Вечером все бывшие люди узнали об открытии ротмистра и, горячо обсуждая будущие действия Петунникова, изображали в ярких красках его изумление и злобу в тот день, когда судебный рассыльный вручит ему копию иска. Ротмистр чувствовал себя героем. Он был счастлив, и все вокруг него были довольны. Большая куча темных, одетых в лохмотья фигур лежала на дворе, шумела и ликовала, оживленная событием. Все знали купца Петунникова. Презрительно щуря глаза, он дарил их таким же вниманием, как и весь другой мусор улицы. От него веяло сытостью, раздражавшей их, и даже сапоги его блестели пренебрежением ко всем. И вот теперь один из них сильно ударит этого купца по карману и самолюбию. Разве это не хорошо?

Зло в глазах этих людей имело много привлекательного. Оно было единственным орудием по руке и по силе им. Каждый из них давно уже воспитал в себе полусознательное, смутное чувство острой неприязни ко всем людям сытым и одетым не в лохмотья, в каждом было это чувство в разных степенях его развития.

Две недели жила ночлежка ожиданием новых событий, и за все это время Петунников ни разу не являлся на постройку. Дознано было, что его нет в городе и что копия прошения еще не вручена ему. Кувалда громил практику гражданского судопроизводства. Едва ли когда-нибудь и кто-либо ждал этого купца с таким напряженным нетерпением, с которым ожидали его босяки.

Не идет, не идет мой ненаглядный-й...

Эх, знать, не любит он м-меня-а! —

пел дьякон Тарас, поджав щеку и юмористически-скорбно глядя в гору.

И вот однажды под вечер Петунников явился. Он приехал в солидной тележке с сыном в роли кучера — краснощеким малым, в длинном клетчатом пальто и в темных очках. Они привязали лошадь к лесам; сын вынул из кармана рулетку, подал конец ее отцу, и они начали мерить землю, оба молчаливые и озабоченные.

— Ага-а! — торжествуя, возгласил ротмистр.

Все, кто был налицо в ночлежке, высыпали к воротам и смотрели, вслух выражая свои мнения по поводу происшедшего.

— Что значит привычка воровать — человек ворует, даже не желая украсть, рискуя потерять больше того, сколько украдет, — соболезнавал ротмистр, вызывая у своего штаба смех и ряд подобных замечаний.

— Ой, малый! — воскликнул наконец Петунников, взорванный насмешками, — гляди, как бы я тебя за твои слова к мировому не потянул!

— Без свидетелей ничего не выйдет... Родной сын не может свидетельствовать со стороны отца, — предупредил ротмистр.

— Ну, гляди же! Атаман ты храбрый, да ведь и на тебя найдется управа!

Петунников грозил пальцем... Сын его, спокойный и погруженный в расчеты, не обращал внимания на кучку темных людей, потешавшихся над его отцом. Он даже не взглянул ни разу в их сторону.

— Молоденький паучок имеет хорошую выдержку, — заметил Обьедок, подробно проследив все действия и движения Петунникова-младшего.

Обмерив все, что было нужно, Иван Андреевич нахмурился, молча сел в тележку и уехал, а его сын твердыми шагами пошел к трактиру Вавилова и скрылся в нем.

— Ого! решительный молодой вор — да! Ну-ка, что будет дальше? — спросил Кувалда.

— А дальше Петунников-младший купит Егора Вавилова, — уверенно сказал Обьедок и вкусно чмокнул губами, выражая полное удовольствие на своем остром лице.

— А ты этому рад, что ли? — сурово спросил Кувалда.

— А мне приятно видеть, как людские расчеты не оправдываются, — с наслаждением объяснил Обьедок, щуря глаза и потирая руки.

Ротмистр сердито плюнул и промолчал. И все они, стоя у ворот полуразрушенного дома, молчали и смотрели на дверь харчевни. Прошел час и более в этом ожидающем молчании. Потом дверь харчевни отворилась, и Петунников вышел такой же спокойный, каким вошел. Он остановился на минуту, кашлянул, приподнял воротник пальто, посмотрел на людей, наблюдавших за ним, и пошел вверх по улице.

Ротмистр проводил его глазами и, обращаясь к Обьедку, усмехнулся.

— А ведь, пожалуй, ты прав, сын скорпиона и мокрицы... У тебя есть нюх на все подлое, да... Уж по харе этого юного жулика видно, что он добился своего... Сколько взял с них Егорка? Он — взял. Он их же поля ягода. Он взял, будь я трижды проклят! Это я устроил ему. Горько мне понимать мою глупость. Да, жизнь вся против нас, братцы мои, мерзавцы! И даже когда плюнешь в рожу ближнего, плевков летит обратно в твои же глаза.

Утешив себя этой сентенцией, почтенный ротмистр посмотрел на свой штаб. Все были разочарованы, ибо все чувствовали, что Вавиловым и Петунниковым заключена сделка. Сознание неумения причинить зло более оскорбительно для человека, чем сознание невозможности сделать добро, потому что зло делать так легко и просто.

— Итак, — чего же мы тут торчим? Нам нечего больше ждать... кроме магарыча, который я сдерну с Егорки, — сказал ротмистр, хмуро посматривая на харчевню. — Благоденственному и мирному житию нашему под кровлей Иуды пришел конец. Поврет нас Иуда вон... О чем и объявляю по вверенному мне департаменту санкюлотов.

Конец мрачно засмеялся.

— Тюремщик, ты чего? — спросил Кувалда.

— Куда ж я пойду?

— Это, душа моя, вопросище... Судьба твоя ответит на него, не беспокойся, — задумчиво сказал ротмистр, идя в ночлежку. Бывшие люди лениво двинулись за ним.

— Мы подождем критического момента, — говорил ротмистр, шагая среди них. — Когда нас вытурят вон, тогда мы и поищем норы для себя. А пока не стоит портить жизнь такими думами... В критические моменты человек становится энергичнее... и если б жизнь, во всей ее совокупности, сделать сплошным критическим моментом, если б

каждую секунду человек принужден был дрожать за целостность своей башки... ей-богу, жизнь была бы более живой, люди более интересными!

— То есть с большей яростью грызли бы глотки друг другу, — пояснил Обьедок, улыбаясь.

— Ну, так что же? — задорно воскликнул ротмистр, не любивший, чтобы его мысли пояснялись.

— А ничего, — это хорошо. Когда хотят скорее куда-нибудь доехать, лошадей бьют кнутом, а машины раздражают огнем.

— Ну да! Пусть все скачет к черту на кулички! Мне было бы приятно, если б земля вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других...

— Свирепо! — усмехнулся Обьедок.

— Так что? Я — бывший человек, — так? Я отвержен — значит, я свободен от всяких пут и уз... Значит, я могу наплевать на все! Я должен по роду своей жизни отбросить в сторону все старое... все манеры и приемы отношений к людям, существующим сыто и нарядно и презирающим меня за то, что в сытости и костюме я отстал от них, я должен воспитать в себе что-то новое — понял? Такое, знаешь, чтобы мимо меня идущие господа жизни, вроде Иуды Петунникова, при виде моей представительной фигуры — трепет хладный в печенках ощущали!

— Экий у тебя язык храбрый, — смеялся Обьедок.

— Эх ты!.. — презрительно оглядел его Кувалда. — Что ты понимаешь? Что ты знаешь? Умеешь ли ты думать? А я — думал... И читал книги, в которых ты не понял бы ни слова.

— Еще бы! Где мне щи лаптем хлебать... Но хотя ты читал и думал, а я не делал ни того, ни другого, однако недалеко же мы друг от друга ушли...

— Пошел к черту! — вскричал Кувалда.

Его разговоры с Обьедком всегда так кончались. Вообще без учителя его речи, — он сам это знал, — только воздух портили, расплываясь в нем без оценки и внимания к ним; но не говорить — он не мог. И теперь, обругав своего собеседника, он чувствовал себя одиноким среди своих людей. А говорить ему хотелось, и потому он обратился к Симцову:

— Ну, а ты, Алексей Максимович, куда приклонишь свою седую голову?

Старик добродушно улыбнулся, потер руной свой нос и объявил:

— Не знаю... Увижу! Наше дело маленькое: выпил, да еще!

— Почтенная, хотя и простая задача! — похвалил его ротмистр.

Симцов, помолчав, добавил, что он устроится скорее всех их, потому что его женщины очень любят. Это была правда: старик всегда имел двух-трех любовниц-проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически; сильно избить его они почему-то не могли — может быть, жалели. Он был страстный женолюбец и рассказывал, что женщины — причина всех несчастий его жизни. Близость его отношений к женщинам и характер их отношения к нему подтверждались и частыми болезнями его, и костюмом, всегда хорошо почиленным и более чистым, чем костюм товарищей. Теперь, сидя на земле у дверей ночлежки в кругу своих товарищей, он хвастливо начал рассказывать, что его давно уже зовет Редька жить с ней, но он не идет к ней, не хочет уйти из компании.

Его слушали с интересом и не без зависти. Редьку все знали — она жила недалеко под горой и недавно только отсидела несколько месяцев за вторую кражу. Это была «бывшая» кормилица, высокая и дородная деревенская баба, с рябым лицом и очень красивыми, хотя всегда пьяными глазами.

— Ишь ты, старый черт! – выругался Обьедок, глядя на самодовольно улыбавшегося Симцова.

— А почему они меня любят? Потому что я знаю, чем жива их душа...

— Н-да? – вопросительно воскликнул Кувалда.

— Умею заставить их жалеть меня. А женщина, когда она пожалеет, — хоть зарежет из жалости. Плачь перед ней, проси ее убить тебя, пожалеет и — убьет...

— Это я убью! – решительно заявил Мартьянов, усмехаясь своей мрачной усмешкой.

— Кого? – спросил Обьедок, отодвигаясь от него в сторону.

— Все равно... Петунникова... Егорку... хоть тебя!

— Зачем? – осведомился Кувалда.

— Хочу в Сибирь... Мне надоело это... Подлая жизнь... А там уж будешь знать, как нужно жить...

— Д-да, там укажут подробно, – меланхолично согласился ротмистр.

О Петунникове и грядущем выселении из ночлежки больше не говорили. Все уже были уверены, что выселение близко к ним, и считали излишним утруждать себя рассуждениями на эту тему.

Расположившись кружком на траве, эти люди лениво вели бесконечную беседу о разных разностях, свободно переходя от одной темы к другой и тратя столько внимания к чужим словам, сколько нужно было его для того, чтобы продолжать беседу, не прерывая. Молчать было скучно, но и внимательно слушать тоже скучно. Это общество бывших людей имело одно великое достоинство; в нем никто не насиловал себя, стараясь казаться лучше, чем он есть, и не возбуждал других к такому насилию над собой.

Осеннее солнце старательно грело лохмотья этих людей, подставивших ему свои спины и нечесанные головы — хаотическое соединение царства растительного с минеральным и животным. В углах двора рос пышный бурьян — высокие лопухи, усеянные цепкими репьями, и еще какие-то никому не нужные растения усаждали взоры никому не нужных людей...

А в харчевне Вавилова разыгралась следующая сцена, Петунников-младший вошел в нее не торопясь, осмотрелся, поморщился брезгливо и, медленно сняв с головы серую шляпу, спросил у трактирщика, встретившего его почтительным поклоном и любезной усмешкой:

— Егор Терентьевич Вавилов — это вы и есть?

— Точно так! – ответил унтер, опираясь о прилавок обеими руками, как бы готовый перепрыгнуть через него.

— Имею к вам дело, – заявил Петунников.

— Вполне приятно... Пожалуйста в комнаты!

Они прошли в комнаты и сели — гость на клеенчатый диван перед круглым столом, хозяин на стул против него. В одном углу комнаты горела лампада перед громадным трехстворчатым киотом, на стене, около него, висели иконы. Ризы их были ярко вычищены, блестели, как новые. В комнате, тесно заставленной сундуками и старой разнообразной мебелью, пахло деревянным маслом, табаком, кислой капустой. Петунников осмотрелся и снова скорчил гримасу. Вавилов со вздохом взглянул на иконы, а потом они пристально осмотрели друг друга, и оба взаимно произвели хорошее впечатление. Петунникову понравились откровенно вороватые глаза Вавилова, Вавилову — открытое, холодное и решительное лицо Петунникова с широкими, крепкими скулами и частыми белыми зубами.

— Ну-с, вы, конечно, догадываетесь, насчет чего я буду говорить! – начал Петунников.

— Насчет иску... я так полагаю, – почтительно сказал унтер.

— Именно. Приятно видеть, что вы не ломаетесь, а идете к делу, как человек прямой души, – поощрил Петунников собеседника.

— Солдат я... – скромно сказал тот.

— Это видно. Итак, будем вести дело просто и прямо, чтобы скорее кончить его.

— Вот именно.

— Хорошо-с. Ваш иск вполне законен, и вы его, конечно, выиграете — это прежде всего я считаю нужным сообщить вам.

— Покорно благодарю, – сказал унтер, моргнув, чтобы скрыть улыбку глаз.

— Но, скажите, зачем же вам понадобилось начинать знакомство с нами, вашими будущими соседями, так резко, — прямо с суда?

Вавилов пожал плечами и смолчал.

— Было бы проще прийти к нам и устроить все миром — а? Как вы думаете?

— Это, конечно, приятнее. Да видите ли... тут есть одна закорючка... не своей волей я действовал... а по наущению... После понял, как было бы лучше-то, ну, — уж поздно.

— Так. Вас, полагаю, адвокат какой-нибудь научил?

— В этом роде...

— Ну-с, так желаете кончить дело миром?

— С полным удовольствием! – воскликнул солдат.

Петунников помолчал, посмотрел на него и вдруг холодно и сухо спросил:

— А почему вы этого желаете?

Вавилов не ожидал такого вопроса и сразу не мог ответить. По его мнению, это был пустой вопрос, и солдат, с сознанием превосходства, усмехнулся в лицо Петунникова-сына.

— Известно почему... с людьми надо стараться жить в мире.

— Ну, – перебил его Петунников, – это не совсем так. Вы, как я вижу, неясно понимаете, почему вам хотелось бы помириться с нами... Я расскажу вам это.

Солдат удивился немного. Этот парень, весь одетый в клетчатую материю и довольно смешной в ней, говорил так, как, бывало, говорил ротный командир Ракшин, под сердитую руку выбивавший у рядовых сразу по три зуба.

— Вам нужно помириться с нами потому, что наше соседство вам очень выгодно! А выгодно оно потому, что у нас на заводе будет рабочих не менее полутора человека, со временем — более. Если сто из них после каждого недельного расчета выпьют у вас по стакану, значит в месяц вы продадите на четыреста стаканов больше, чем продаете теперь. Это я взял самое меньшее. Затем у вас харчевня. Вы, кажется, неглупый и бывалый человек, сообразите-ка сами выгодность нашего соседства.

— Это верно-с, – кивнул головой Вавилов, – это я знал.

— И что же? – громко осведомился купец.

— Ничего-с... Давайте помиримся...

— Очень приятно, что вы так скоро решаете. Вот я припас заявление в суд о прекращении вами претензии против отца. Прочитайте и подпишите.

Вавилов круглыми глазами посмотрел на своего собеседника и вздрогнул, предчувствуя что-то крайне скверное.

— Позвольте... подписать? А как же это?

— Просто, вот напишите имя и фамилию и больше ничего, – обязательно указывая пальцем, где подписать, объяснил Петунников.

— Нет — это что-о! Я не про это... Я насчет того, какое же мне вознаграждение за землю вы дадите?

— Да ведь вам эта земля ни к чему! – успокоительно сказал Петунников.

— Однако она моя! – воскликнул солдат.

— Конечно... А сколько вы хотели бы?

— Да хоть бы — по иску... Как там прописано, – робко заявил Вавилов.

— Шестьсот? – Петунников мягко засмеялся. – Ах вы чудак!

— Я имею право... Я могу хоть две тысячи требовать... Могу настоять, чтобы вы сломали... Я так и хочу... Потому и цена иска такая малая. Я требую — ломать!

— Валяйте... Мы, может быть, и сломаем... года через три, втянув вас в большие издержки по суду. А заплатив, откроем свой кабачок и харчевню получше вашей — вы и пропадете, как швед под Полтавой. Пропадете, голубчик, уж мы об этом позаботимся.

Вавилов, крепко сцепив зубы, смотрел на своего гостя и чувствовал, что гость — владыка его судьбы. Жалко стало Вавилову себя пред лицом этой спокойной, неумолимой фигуры в клетчатом костюме.

— А в таком близком соседстве с нами находясь и в согласии живя, вы, служивый, хорошо могли бы заработать. Об этом мы тоже бы позаботились. Я, например, даже сейчас порекомендую вам лавочку маленькую открыть. Знаете — табачок, спички, хлеб, огурцы и так далее... Все это будет иметь хороший сбыт.

Вавилов слушал и, как неглупый мальй, понимал, что отдаться на великодушие врага — всего лучше. С этого и надо бы начать. И, не зная, куда девать свою злобу, солдат вслух обругал Кувалду:

— Пьяница, ан-нафема!

— Это вы того адвоката, который сочинял вам прошение? – спокойно спросил Петунников и, вздохнув, добавил: — Действительно, он мог сыграть с вами скверную шутку, если б мы не пожалели вас.

— Эх! – махнул рукой огорченный солдат. – Двое тут... Один нашел, другой писал... Корреспондент проклятый!

— Это почему же — корреспондент?

— Пишет в газеты... Всё — ваши постояльцы... Вот люди! Уберите вы их, гоните, Христа ради! Разбойники! Всех здесь в улице мутят, настраивают. Житья нет от них, — отчаянные люди — того гляди, ограбят или подожгут...

— А этот корреспондент, — он кто такой? – заинтересовался Петунников.

— Он? Пьяница! Учителем был — выгнали. Пропился, пишет в газеты, сочиняет прошения. Очень подлый человек!

— Гм! Он вам и писал прошение? Та-ак-с! Очевидно, он же писал и о беспорядках на стройке, — леса там, что ли, нашел неправильно поставленными.

— Он! Я это знаю, он, собака! Сам здесь читал и хвалился — вот я, говорит, Петунникова в убыток ввел.

— Н-да... Ну-с, так как же вы — мириться намерены?

— Мириться?

Солдат опустил голову и задумался.

— Эх ты, жизнь наша темная! – с обидой в голосе воскликнул он, почесав затылок.

— Учиться надо, – порекомендовал ему Петунников, закуривая папиросу.

— Учиться? Не в этом дело-с, сударь вы мой! Свободы нет, вот что! Ведь у меня какая жизнь? В трепете живу... с постоянной оглядкой... вполне лишен свободы желательных мне движений! А почему? Боюсь... Этот кикимора учитель в газетах пишет на меня... санитарный надзор навлекает, штрафы плачу... Постояльцы ваши, того гляди, сожгут, убьют, ограбят... Что я против них могу? Полиции они не боятся... Посадят их — они даже рады — хлеб им даровой.

— А вот мы их устраним, — если сойдемся с вами, – пообещал Петунников.

— Как же мы сойдемся? – с тоской и угрюмо спросил Вавилов.

— Говорите ваши условия.

— Да что же? Шестьсот по иску...

— Сто рублей не возьмете? – спокойно спросил купец, тщательно осмотрел своего собеседника и, мягко улыбнувшись, добавил: — Больше не дам ни рубля...

После этого он снял очки и медленно стал вытирать их стекла вынутым из кармана платком. Вавилов смотрел на него с тоской в сердце и в то же время проникался почтением к нему. В спокойном лице молодого Петунникова, в его серых, больших глазах, в широких скулах, во всей его коренастой фигуре было много силы, уверенной в себе и хорошо дисциплинированной умом. Вавилову нравилось и то, как Петунников говорил с ним: просто, с дружескими нотками в голосе, без всякого барства, как со своим братом, хотя Вавилов понимал, что он, солдат, не пара этому человеку. Рассматривая его, почти любуясь им, он не вытерпел и, ощутив в себе прилив горячего любопытства, на минуту заглушившего все остальные его ощущения, почтительно спросил Петунникова:

— Где изволили учиться?

— В технологическом институте. А что? – вскинул тот на него улыбающиеся глаза.

— Ничего-с, это я так, — извините! – Солдат понурил голову и вдруг с восхищением, завистью и даже вдохновенно воскликнул: — Н-да! Вот оно, образование-то! Одно слово, — наука — свет! А наш брат, — как сова перед солнцем в этом свете... Эхма! Ваше благородие! Давайте кончим дело?

Он решительным жестом протянул руку Петунникову и сдавленно сказал:

— Ну — пятьсот?

— Не больше ста рублей, Егор Терентьевич, — как бы сожалея, что больше дать не может, пожал плечами Петунников, хлопая по волосатой руке солдата своей белой и крупной рукой.

Они скоро кончили, потому что солдат вдруг пошел навстречу желанию Петунникова крупными скачками, а тот был непоколебимо тверд. И когда Вавилов получил сто рублей и подписал бумагу, — он ожесточенно бросил перо на стол и воскликнул:

— Ну, теперь остается мне с золотой ротой ведаться! Засмеют, застыдят они меня, дьяволы!

— А вы скажите им, что я заплатил вам всю сумму иска, — предложил Петунников, спокойно пуская изо рта тонкие струйки дыма и следя за ними.

— Да разве они этому поверят? Это тоже умные мошенники, не хуже...

Вавилов остановился вовремя, смущенный едва не сказанным сравнением, и с боязнью взглянул на купеческого сына. Тот курил, весь был поглощен этим занятием. Скоро он ушел, пообещав на прощанье Вавилову разорить гнездо беспокойных людей. Вавилов смотрел ему вслед и вздыхал, ощущая сильное желание крикнуть что-нибудь злое и обидное в спину этого человека, твердыми шагами поднимавшегося в гору по дороге, изрытой ямами, засоренной мусором.

Вечером в харчевню явился ротмистр. Брови у него были сурово нахмурены и правая рука энергично стиснута в кулак. Вавилов виновато улыбался навстречу ему.

— Н-ну, достойный потомок Каина и Иуды, рассказывай...

— Порешили, — сказал Вавилов, вздохнув и опуская глаза.

— Не сомневаюсь. Сколько сребреников получил?

— Четыреста целковых...

— Наверно, врешь... Но это мне же лучше. Без дальнейших слов, Егорка, десять процентов мне за открытие, четвертную учителю за написание прошения, ведро водки всем нам и приличное количество закуски. Деньги сейчас подай, водку и прочее к восьми часам.

Вавилов позеленел и широко открытыми глазами уставился на Кувалду:

— Это-с дудки! Это грабеж! Я не дам... Что вы, Аристид Фомич! Нет, уж это вы оставьте ваш аппетит до следующего праздника! Ишь вы как! Нет, я теперь имею возможность не бояться вас. Я теперь...

Кувалда взглянул на часы за стойкой.

— Даю тебе, Егорка, десять минут для твоего поганого разговора. Кончай в этот срок блудить языком и давай, что требую. Не дашь — сожру! Конеч тебе кое-что продал? Ты в газете о краже у Басова читал? Понимаешь? Спрятать не успеешь ничего — помешаем. И сегодня же ночью... Понял?

— Аристид Фомич! За что? – взвыл отставной унтер.

— Без слов! Понял или нет?

Высокий, седой и внушительно нахмурившийся Кувалда говорил вполголоса, и его хриплый бас зловеще гудел в пустой харчевне. Вавилов всегда немножко боялся его, как бывшего военного и человека, которому нечего терять. Теперь же Кувалда явился перед ним в новом виде: он не говорил много и смешно, как всегда, а в том, что он говорил тоном командира, уверенного в повиновении, звучала нешуточная угроза. И Вавилов чувствовал, что ротмистр погубит его, если захочет, погубит с удовольствием. Нужно было покориться силе. Но с злым трепетом в сердце солдат еще раз попробовал вернуться от кары. Он глубоко вздохнул и смиренно начал:

— Видно, верно сказано: сама себя баба бьет, коли нечисто жнет... Наврал я на себя вам, Аристид Фомич... хотел умнее показаться, чем я есть... Сто рублей я получил только...

— Дальше, – бросил ему Кувалда.

— А не четыреста, как сказал вам. Значит...

— Ничего не значит... Мне неизвестно, когда ты врал, давеча или теперь. Я получаю с тебя шестьдесят пять рублей. Это скромно... Ну?

— Эх, господи боже мой! Я вашему благородию всегда, сколько мог, оказывал внимания.

— Ну? Брось слова, Егорка, правнук Иуды!

— Извольте, — я дам... Только вас бог накажет за это.

— Молчать, ты, гнойный прыщ на земле! – гаркнул ротмистр, свирепо вращая глазами. – Я наказан богом... Он меня поставил в необходимость видеть тебя, говорить с тобой... Пришибу на месте, как муху!

Он потряс кулаком у носа Вавилова и скрипнул зубами, оскалив их.

Когда он ушел, Вавилов начал криво усмехаться и учащенно моргать глазами. Потом по щекам его покатались две крупные слезы. Они были какие-то серые, и, когда скрылись в его усах, две другие явились на их место. Тогда Вавилов ушел к себе в комнату, встал там перед образами и так стоял долго, не молясь, не двигаясь и не вытирая слез с своих морщинистых коричневых щек.

Дьякон Тарас, всегда тяготевший к лесам и лугам, предложил бывшим людям идти в поле, в один овраг и там, на лоне природы, распить водку Вавилова. Но ротмистр и все остальные единодушно обругали и дьякона и природу, решив пить у себя на дворе.

— Один, два, три... – считал Аристид Фомич, – итого нас тринадцать; нет учителя... ну, да еще кое-какие архаровцы подойдут. Будем считать двадцать персон. По два с половиной огурца на брата, по фунту хлеба и мяса... недурно! Водки приходится по бутылке... Есть кислая капуста, яблоки и три арбуза. Спрашивается, какого дьявола еще нужно вам, друзья мои, мерзавцы? Итак, приготовимся же пожирать Егорку Вавилова, ибо все это — кровь и плоть его!

На земле разостлали какие-то остатки одежд, на них разложили пития и яства и уселись вокруг, чинно и молча, едва сдерживая жадное желание пить, сверкавшее у всех в глазах.

Наступал вечер, тени его опускались на обезображенную отбросами землю двора ночлежки, последние лучи солнца освещали крышу полуразвалившегося дома. Было прохладно, тихо.

— Приступим, братия! – скомандовал ротмистр. – Сколько чаш имеем мы? Шесть, а нас — тринадцать... Алексей Максимович! Наливай! Готово? Н-ну, перррвый взвод... пли!

Выпили, крикнули и стали есть.

— А учителя нет... вот уже третьи сутки я не вижу его. Никто не видал? – спросил Кувалда.

— Никто...

— Это не в его характере! Ну, все равно. Выпьем еще! Выпьем за здоровье Аристида Кувалды, единственного моего друга, который всю мою жизнь ни на минуту не оставлял меня одного. Хотя, черт его побери, может быть, я и выиграл бы что-нибудь, если б он на некоторое время лишил меня своего общества.

— Это остроумно, – сказал Обьедок и закашлялся. Ротмистр с сознанием своего превосходства посмотрел на товарищей, но не сказал ничего, ибо ел.

Выпив дважды, компания сразу оживилась — порции были внушительные. Полтора Тараса выразил робкое желание послушать сказку, но дьякон вступил в спор с Кубарем о преимуществах худых женщин пред толстыми и не обратил внимания на слова друга, доказывая Кубарю свой взгляд с ожесточением и горячностью человека, глубоко убежденного в правоте своих взглядов. Наивная рожа Метеора, лежавшего на животе около него, выражала умиление, смакуя забористые словечки дьякона. Мартьянов, обняв свои колени громадными руками, поросшими черной шерстью, молча и мрачно смотрел на бутылку водки и ловил языком ус, стараясь закусить его зубами. Обьедок дразнил Тяпú:

— Я уже подсмотрел, куда ты, колдун, деньги прячешь!

— Твое счастье, – хрипел Тяпá.

— Я, брат, у тебя их поддедюлю!

— Бери...

Кувалде было скучно с этими людьми: среди них не было ни одного собеседника, достойного слушать его красноречие и способного понимать его.

— Где бы это мог быть учитель? – вслух подумал он.

Мартьянов посмотрел на него и сказал:

— Придет...

— Я уверен, что он именно придет, а не в карете приедет. Выпьем, будущий каторжник, за твое будущее. Если ты убьешь денежного человека, поделись со мной... Я, брат, поеду тогда в Америку, в эти... как их? Лампасы... Пампасы! Поеду туда и достукаюсь там до президента штатов. Потом объявлю всей Европе войну и вздую ее. Армию куплю... в Европе же... Приглашу французов, немцев, турок и буду бить ими ихних родственников... как Илья Муромец бил татар татаринном. С деньгами можно быть Ильей... уничтожить Европу и нанять к себе в лакеи Иуду Петунникова... Он — пойдет... дать ему сто рублей в месяц — и пойдет! Но лакеем будет скверным, ибо станет воровать...

— И еще тем худая женщина лучше толстой, что она дешевле стоит, – убедительно говорил дьякон. – Первая дьяконица моя покупала на платье двенадцать аршин, а вторая десять... Так же и в пище...

Полтора Тараса виновато засмеялся, повернул голову к дьякону, уставился своим глазом ему в лицо и сконфуженно заявил:

— У меня тоже была жена...

— Это со всяким может случиться, – заметил Кувалда. – Ври дальше...

— Была худая, но ела много... И даже от этого померла...

— Ты отравил ее, кривой, – убежденно сказал Обьедок.

— Нет, ей-богу! Она севрюги обьелась, – рассказывал Полтора Тараса.

— А я тебе говорю — ты ее отравил! – решительно утверждал Обьедок.

С ним часто это бывало: сказав какую-нибудь нелепость, он начинал повторять ее, не приводя никаких оснований в подтверждение, и, говоря сначала каким-то капризно-детским тоном, постепенно доходил почти до бешенства.

Дьякон вступился за друга.

— Нет, он отравить не мог... не было причины...

— А я говорю — отравил! – взвизгнул Обьедок.

— Молчать! – грозно крикнул ротмистр. Скука у него перерождалась в тоскливое озлобление. Он свирепыми глазами осмотрел своих приятелей и, не найдя в их рожах, уже полупьяных, ничего, что могло бы дать дальнейшую пищу его озлоблению, — опустил голову на грудь, посидел так несколько минут и потом лег на землю кверху лицом. Метеор грыз огурцы. Он брал огурец в руку, не глядя на него, засовывал его до половины в рот и сразу перекусывал большими желтыми зубами, так что рассол из огурца брызгал во все стороны, орошая его щеки. Есть ему, очевидно, не хотелось, но этот процесс развлекал его. Мартьянов сидел неподвижно, как изваяние, в той же позе, в которой уселся на землю, и так же сосредоточенно и мрачно смотрел на полуведерную бутылку водки, уже наполовину пустую. Тяпá смотрел в землю и жевал мясо, не поддававшееся его старым зубам. Обьедок лежал на животе и кашлял, съживив все свое маленькое тело. Остальные — всё молчаливые и темные фигуры — сидели и лежали в разнообразных позах, лохмотья делали их похожими на безобразных животных, созданных силой, грубой и фантастической, для насмешки над человеком.

Жила-была в Суздале
Барыня незнатная,
И с ней случилась судорга
Оч-чень неприятная! –

вполголоса напевал дьякон, обнимая Алексея Максимовича, блаженно улыбавшегося ему в лицо. Полтора Тараса сладострастно хихикал.

Ночь приближалась. В небе тихо вспыхивали звезды, на горе в городе — огни фонарей. Заунывные свистки пароходов неслись с реки, с визгом и дребезгом стекол отворялась дверь харчевни Вавилова. На двор вошли две темные фигуры, приблизились к группе людей около бутылки, и одна из них хрипло спросила:

— Пьете?

А другая вполголоса, с завистью и радостью, произнесла:

— Ишь какие черти!

Затем через голову дьякона протянулась рука, взяла бутылку, и раздалось характерное бульканье водки, наливаемой из бутылки в чашку. Потом громко крикнули...

— Ну, и тоска же! – воскликнул дьякон. – Кривой! давай вспомним старину, споем «На реках вавилонских»!

— Он разве умеет? – спросил Симцов.

— Он? Он, брат, в архиерейском хоре солистом был... Ну, Кривой... На-ре-е-е-ка-...

Голос у дьякона был дикий, хриплый, прерывающийся, а его друг пел визгливым фальцетом.

Обьятый тьмою выморочный дом, казалось, увеличился в объеме или подвинулся всей массой полусгнившего дерева ближе к этим людям, будившим в нем глухое эхо своим диким воем. Облако, пышное и темное, медленно двигалось по небу над ним. Кто-то из бывших людей храпел, остальные, все еще недостаточно пьяные, или молча пили и ели, или же разговаривали вполголоса с длинными паузами. Всем было непривычно это подавленное настроение на пире, редком по обилию водки и яств. Почему-то сегодня долго не разгоралось буйное оживление, свойственное обитателям ночлежки за бутылкой.

— Вы, собаки! Погодите выть... – сказал ротмистр певцам, поднимая голову с земли и прислушиваясь. – Кто-то едет... на пролетке...

Пролетка на Въезжей улице, и в эту пору, не могла не возбудить общего внимания. Кто из города мог рискнуть поехать по рытвинам и ухабам улицы, кто и зачем? Все подняли головы и слушали. В тишине ночи ясно разносилось шуршание колес, задевавших за крылья пролетки. Оно все приближалось. Раздался чей-то голос, грубо спрашивавший:

— Ну, где же?

Кто-то ответил:

— А вон к тому дому, должно быть.

— Дальше не поеду...

— Это к нам! – воскликнул ротмистр.

— Полиция! – прозвучал тревожный шепот.

— На пролетке-то! Дурак! – глухо сказал Мартьянов.

Кувалда встал и пошел к воротам.

Объедок, склонив голову вслед ему, стал слушать.

— Это ночлежный дом? – спрашивал кто-то дребезжащим голосом.

— Да, – прогудел недовольный бас ротмистра.

— Здесь жил репортер Титов?

— Это вы его привезли?

— Да...

— Пьяный?

— Болен!

— Значит, сильно пьяный. Эй, учитель! Ну-ка, вставай!

— Подождите! Я помогу вам... он сильно болен. Он двое суток лежал у меня. Берите под мышки... Был доктор. Очень скверно...

Тяпá встал и медленно пошел к воротам, а Объедок усмехнулся и выпил.

— Зажгите-ка огонь там! – крикнул ротмистр.

Метеор пошел в ночлежку и зажег в ней лампу. Тогда из двери ночлежки протянулась во двор широкая полоса света, и ротмистр вместе с каким-то маленьким человеком ввели по ней учителя в ночлежку. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по земле и руки висели в воздухе, как изломанные. При помощи Тяпá его свалили на нары, и он, вздрогнув всем телом, с тихим стоном вытянулся на них.

— Мы с ним в одной газете работали... Очень несчастный. Я говорю: «Пожалуйста, лежите у меня, вы меня не стесняете...» Но он молит меня: «Отправьте домой!» Волнуется... я подумал, что ему вредно, и вот привез его... Ведь это именно здесь... да?

— А по-вашему, у него еще где-нибудь есть дом? – грубо спросил Кувалда, пристально рассматривая своего друга. – Тяпá, ступай принеси холодной воды!

— Так вот... – смущенно помялся человек. – Я полагаю... я не нужен ему?

— Вы? – Ротмистр критически посмотрел на него.

Человечек был одет в пиджак, сильно потертый и тщательно застегнутый вплоть до подбородка. Брюки на нем были с бахромой, шляпа рыжая от старости, смятая, как и его худое, голодное лицо.

— Нет, вы не нужны, здесь таких, как вы, много... – сказал ротмистр, отворачиваясь от человека.

— Значит, до свидания! – Человек пошел к двери и оттуда тихо попросил: — Ежели что случится... вы известите в редакцию... Моя фамилия — Рыжов. Я написал бы маленький некролог, ведь все-таки он был, знаете, деятель прессы...

— Гм, некролог, говорите? Двадцать строк — сорок копеек? Я лучше сделаю: когда он умрет, я отрежу ему одну ногу и пришлю в редакцию на ваше имя. Это для вас

выгоднее, чем некролог, дня на три хватит... у него ноги толстые... Ели же вы его все там живого...

Человечек как-то странно фыркнул и исчез. Ротмистр сел на нары рядом с учителем, пощупал рукой его лоб, грудь и позвал его:

— Филипп!

Звук глухо отдался в грязных стенах ночлежки и замер.

— Это, брат, нелепо! – сказал ротмистр, тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы неподвижного учителя. Потом ротмистр прислушался к его дыханию, горячему и прерывистому, посмотрел в лицо, осунувшееся и землистое, вздохнул и, строго нахмутив брови, осмотрелся вокруг. Лампа была скверная: огонь в ней дрожал, и по стенам ночлежки молча прыгали черные тени. Ротмистр стал упорно смотреть на их безмолвную игру, разглаживая себе бороду.

Пришел Тяпá с ведром воды, поставил его на нары рядом с головой учителя и, взяв его руку, поднял на своей руке, как бы взвешивая.

— Не надо воды, – махнул рукой ротмистр.

— Попа надо, – уверенно сказал старый тряпичник.

— Ничего не надо, – решил ротмистр.

Они помолчали, глядя на учителя.

— Пойдем выпьем, старый черт!

— А он?

— Ты ему поможешь?

Тяпá повернулся к учителю спиной, и они вышли на двор.

— Что там? – спросил Обьедок, обращая к ротмистру свою острую морду.

— Ничего особенного. Умирает человек... – кратко сообщил ротмистр.

— Избили его? – поинтересовался Обьедок.

Ротмистр не ответил, он пил водку.

— Как будто знал, что у нас есть чем поминки о нем справить, – сказал Обьедок, закуривая папиросу.

Кто-то засмеялся, кто-то тяжело вздохнул. Дьякон вдруг как-то напрягся, пошлепал губами, потер лоб и дико взвыл:

— Иде же праведний у-по-ко-я-ются-а!

— Ты! – зашипел Обьедок, – что орешь?

— Дай ему в рожу! – посоветовал ротмистр.

— Дурак! – раздался хрип Тяпý. – Когда человек кончается, нужно, чтобы тихо было.

Было достаточно тихо: и в небе, покрытом тучами, грозившем дождем, и на земле, одетой мрачной тьмой осенней ночи. Порой раздавался храп уснувших, бульканье наливаемой водки, чавканье. Дьякон что-то бормотал. Тучи плыли так низко, что казалось — вот они заденут за крышу старого дома и опрокинут его на группу этих людей.

— А... скверно на душе, когда умирает человек близкий... – заикаясь, проговорил ротмистр и склонил голову на грудь.

Никто ему не ответил.

— Среди вас — он был лучший... самый умный и порядочный. Мне жалко его...

— Со-о святы-ими упоко-ой... пой, кривая шельма! – забурлил дьякон, толкая в бок своего друга, дремавшего рядом с ним.

— Молчать!.. ты! – злым шепотом, воскликнул Обьедок, вскакивая на ноги.

— Я его ударю по башке, – предложил Мартьянов, поднимая голову с земли.

— А ты не спишь? – необычайно ласково сказал Аристид Фомич. – Слышал? Учитель-то у нас...

Мартьянов тяжело завозился на земле, встал, посмотрел на полосы света, исходившего из двери и окон ночлежки, качнул головой и молча сел рядом с ротмистром.

— Выпьем? – предложил тот. Ощупью отыскав стаканы, они выпили.

— Пойду посмотрю... – сказал Тяпá, – может, ему надо чего.

— Гроб надо... – усмехнулся ротмистр.

— Не говорите вы про это, – глухим голосом попросил Обьедок.

За Тяпóй встал с земли Метеор. Дьякон тоже хотел встать, но свалился набок и громко выругался.

Когда Тяпá ушел, ротмистр ударил по плечу Мартьянова и вполголоса заговорил:

— Так-то, Мартьянов... Ты лучше других должен чувствовать... Ты был... впрочем, к черту, это. Жалко тебе Филиппа?

— Нет, – помолчав, ответил бывший тюремщик. – Я, брат, ничего такого не чувствую... разучился... Мерзко так жить. Я серьезно говорю, что убью кого-нибудь...

— Да? – неопределенно произнес ротмистр. – Ну... что же? Выпьем еще!

— Н-наше дел-ло маленькое... выпил — да еще-о!

Это проснулся и блаженным тоном пропел Симцов.

— Братцы?! Кто тут? Налейте старику чарку!

Ему налили и подали. Выпив, он снова свалился, ткнувшись головой в чей-то бок.

Минуты две продолжалось молчание, такое же темное и жуткое, как эта осенняя ночь. Потом кто-то зашептал...

— Что? – раздался вопрос.

— Я говорю, славный он парень был. Голова, тихий такой, – говорили вполголоса.

— Деньги имел... и не жалел их для своего брата... — И опять наступило молчание.

— Кончается! – раздался хрип Тяпý над головой ротмистра.

Аристид Фомич встал и, усиленно твердо ступая ногами, пошел в ночлежку.

— Пошто идешь? – остановил его Тяпá. – Не ходи. Пьяный ведь ты... нехорошо!

Ротмистр остановился, подумал.

— А что хорошо на этой земле? Пошел ты к черту!

По стенам ночлежки все прыгали тени, как бы молча борясь друг с другом. На нарах, вытянувшись во весь рост, лежал учитель и хрипел. Глаза у него были широко открыты, обнаженная грудь сильно колыхалась, в углах губ кипела пена, и на лице было такое напряженное выражение, как будто он силился сказать что-то большое, трудное и — не мог и невыразимо страдал от этого.

Ротмистр стал перед ним, заложив руки за спину, и с минуту молча смотрел на него. Потом заговорил, болезненно наморщив лоб:

— Филипп! Скажи мне что-нибудь... слово утешения другу... брось!.. Я, брат, люблю тебя... Все люди — скоты, ты был для меня — человек... хотя ты пьяница! Ах, как ты пил водку, Филипп! Именно это тебя и погубило... А почему? Нужно было уметь владеть собою... и слушать меня. Р-разве я не говорил тебе, бывало...

Таинственная, все уничтожающая сила, именуемая смертью, как бы оскорбленная присутствием этого пьяного человека при мрачном и торжественном акте ее борьбы с жизнью, решила скорее кончить свое бесстрастное дело, — учитель, глубоко вздохнув, тихо простонал, вздрогнул, вытянулся и замер.

Ротмистр качнулся на ногах, продолжая свою речь.

— Хочешь, я принесу тебе водки? Но лучше не пей, Филипп... Сдержись, победи себя... А то выпей! Зачем, говоря прямо, сдерживать себя... Чего ради, Филипп? Верно? Чего ради?..

Он взял его за ногу и потянул к себе.

— А, ты уснул, Филипп? Ну... спи! Покойной ночи... Завтра я все это разьясню тебе и ты убедишься, что ничего не надо запрещать себе... А теперь спи... если ты не умер...

Он вышел, сопровождаемый молчанием, и, придя к своим, объявил:

— Уснул... или умер... Не знаю... Я н-немножко пьян...

Тяпá еще более согнулся, осеняя свою грудь крестным знаменем. Мартьянов молча поежился и лег на землю. Обьедок стал быстро возиться на земле, вполголоса, злым и тоскливым тоном говоря:

— Черт вас всех возьми!.. Ну, умер! Ну, что же? Меня-то... мне зачем знать это? Зачем мне об этом рассказывать? Придет время — я сам умру... не хуже его... Не хуже я других.

— Это верно! – громко говорил ротмистр, грузно опускаясь на землю. – Придет время, и все мы умрем не хуже других... ха-ха! Как мы проживем... это пустяки! Но мы умрем — как все. В этом — цель жизни, верьте моему слову. Ибо человек живет, чтоб умереть. И умирает... И если это так — не все ли равно, как он жил? Мартьянов, я прав? Выпьем же еще... и еще, пока живы.

Накрапывал дождь. Густая, душная тьма покрывала фигуры людей, валявшиеся на земле, скомканные сном или опьянением. Полоса света, исходившая из ночлежки, побледнев, задрожала и вдруг исчезла. Очевидно, лампу задул ветер или в ней догорел керосин. Падая на железную крышу ночлежки, капли дождя стучали робко и нерешительно. С горы из города неслись унылые, редкие удары в колокол — сторожили церковь.

Медный звук, слетая с колокольни, тихо плыл во тьме и медленно замирал в ней, но раньше, чем тьма успевала заглушить его последнюю, трепетно вздохавшую ноту, рождался другой удар, и снова в тишине ночи разносился меланхолический вздох металла.

Наутро первым проснулся Тяпá.

Повернувшись на спину, он посмотрел на небо — изуродованная шея его только в этом положении позволяла ему видеть небо над головой.

Небо однообразно серое. Там, вверху, сгустился сырой и холодный сумрак, погасил солнце и, скрыв собою голубую беспредельность, изливал на землю уныние. Тяпá перекрестился и привстал на локте, чтоб посмотреть, не осталось ли где водки. Бутылка была пустая. Перелезая через товарищей, Тяпá стал осматривать чашки. Одну из них он нашел почти полной, выпил, вытер губы рукавом и стал трясти за плечо ротмистра.

— Вставай... эй! Слышь?

Ротмистр поднял голову, глядя на него тусклыми глазами.

— Надо полиции заявить... ну, вставай!

— А что? – сонно и сердито спросил ротмистр.

— Что умер он...

— Это кто?

— Ученый-то...

— Филипп? Да-а!

— А ты забыл... эхма! – укоризненно хрипел Тяпá.

Ротмистр встал на ноги, зычно зевнул и потянулся так, что у него кости хрустнули.

— Так иди ты, объяви...

— Я не пойду... не люблю я их, – угрюмо сказал Тяпá.

— Ну, разбуди дьякона... А я пойду посмотрю.

Ротмистр вошел в ночлежку и стал в ногах учителя. Мертвый лежал, вытянувшись во всю длину; левая рука была у него на груди, правая откинута так, точно он размахнулся, чтоб ударить кого-то. Ротмистр подумал, что, если б учитель встал теперь, он был бы такой же высокий, как Полтора Тараса. Потом он сел на нары в ногах приятеля и, вспомнив, что они прожили вместе около трех лет, вздохнул. Вошел Тяпá, держа голову, как козел, собравшийся бодаться. Он сел по другую сторону ног учителя, посмотрел на его темное лицо, спокойное и серьезное, с плотно сжатыми губами, и захрипел:

- Да... вот и умер... И я умру скоро...
- Тебе пора, – хмуро сказал ротмистр.
- Пора уж! – согласился Тяпá. – И тебе тоже надо бы умереть... Все лучше, чем так-то...
- А может, хуже? Ты почему знаешь?
- Хуже не будет. Помрешь — с богом будешь иметь дело... А тут с людьми...
- А люди — что они значат?
- Ну ладно, не хрипи, – сердито оборвал его Кувалда.
- В сумраке, наполнявшем ночлежку, стало внушительно тихо.
- Долго они сидели у ног мертвого сотоварища и изредка поглядывали на него, оба погруженные в думы. Потом Тяпá спросил:
- Хоронить его ты будешь?
- Я? Нет! Полиция пускай хоронит.
- Ну! Чай, ты схорони... ведь за прошение-то с Вавилова взял его деньги... Я дам, коли не хватит...
- Деньги его у меня... а хоронить не стану.
- Нехорошо это. Мертвого грабишь. Я вот скажу всем, что ты его деньги заешь хочешь... – пригрозил Тяпá.
- Глуп ты, старый черт, – презрительно сказал Кувалда.
- Не глуп я... а только нехорошо, мол, не по-дружески.
- Ну и ладно. Отвяжись!
- Ишь! А сколько денег-то?
- Четвертная... – рассеянно сказал Кувалда.
- Она!.. Дал бы мне хоть пятерочку...
- Экой ты мерзавец, старик... – равнодушно посмотрев в лицо Тяпы, сказал ротмистр.
- Право, дай...
- Пошел к черту!.. Я ему на эти деньги памятник устрою.
- На что ему?
- Куплю жернов и якорь. Жернов положу на могилу, а якорь цепью прикую к нему. Это будет очень тяжело...
- Зачем? Чудишь ты...
- Ну... не твое дело.
- Я, смотри, скажу... – снова пригрозил Тяпá.
- Аристин Фомич тупо посмотрел на него и промолчал.
- Слышь... едут! – сказал Тяпá, встал и ушел из ночлежки.
- Скоро в дверях ее явился частный пристав, следователь и доктор. Все трое поочередно подходили к учителю и, взглянув на него, выходили вон, награждая Кувалду косыми и подозрительными взглядами. Он сидел, не обращая на них внимания, пока пристав не спросил его, кивая головой на учителя:
- Отчего он умер?
- Спросите у него... Я думаю, от непривычки...
- Что такое? – спросил следователь.
- Я говорю — умер он, по моему мнению, от непривычки к той болезни, которой захворал...
- Гм... да! А он давно хворал?
- Вытащить бы его сюда, не видно там ничего, – предложил доктор скучным тоном.
- Может быть, есть знаки...
- Нуте-ка, позовите кого-нибудь вынести его, – приказал пристав Кувалде.
- Зовите сами... Он мне не мешает и тут... – равнодушно отозвался ротмистр.
- Ну! – крикнул полицейский, делая свирепое лицо.

— Тпру! – отпарировал Кувалда, не трогаясь с места, спокойно злой и оскаливший зубы.

— Я, черт возьми!.. – крикнул пристав, взбешенный до того, что лицо у него налилось кровью. – Я вам этого не спущу! Я...

— Добренького здоровьица, господа честные! – сладким голосом сказал купец Петунников, являясь в дверях.

Окинув острым взглядом всех сразу, он вздрогнул, отступил шаг назад и, сняв картуз, истово перекрестился. Затем по лицу его расплылась улыбка злорадного торжества, и, в упор глядя на ротмистра, он почтительно спросил:

— Что это здесь? Никак человека убили?

— Да вот что-то в этом роде, – ответил ему следователь.

Петунников глубоко вздохнул, опять перекрестился и тоном огорчения заговорил:

— А, господи боже мой! Как я этого боялся! Всегда, бывало, зайдешь сюда, посмотришь... ай, ай, ай! Потом придешь домой, и все такое начинает мерещиться — боже упаси всякого!.. Сколько раз я господину этому, вот... главнокомандующему золотой ротой, хотел отказать от квартиры, но боюсь все... знаете... народ такой... лучше уступить, думаю, а то как бы не того...

Он плавно повел рукой в воздухе, потом провел ею по лицу, собрал в горсть бороду и снова вздохнул.

— Опасные люди. И господин этот вроде начальника у них... совершенно атаман разбойников.

— А вот мы его пощупаем, – многообещающим тоном сказал пристав, глядя на ротмистра мстительными глазами. – Он мне тоже хорошо известен!..

— Да, мы с тобой, брат, старые знакомые... – подтвердил Кувалда фамильярным тоном. – Сколько я тебе и присным твоим взятку за молчание переплатил!

— Господа! – воскликнул пристав, – вы слышали? Прошу запомнить! Я этого не спущу... А-а! Так вот что? Ну, ты у меня помни это! Я тебя... сокр-рашу, мой друг...

— Не хвались на рать идучи... – спокойно говорил Аристид Фомич.

Доктор, молодой человек в очках, смотрел на него с любопытством, следователь со зловещим вниманием, Петунников с торжеством, а пристав кричал и метался, наскакивая на него.

В дверях ночлежки явилась мрачная фигура Мартьянова. Он подошел тихо и стал сзади Петунникова, так что его подбородок приходился над теменем купца. Сбоку из-за него выглядывал дьякон, широко раскрывая свои маленькие, опухшие и красные глазки.

— Однако давайте же что-нибудь делать, господа! – предложил доктор.

Мартьянов скорчил страшную гримасу и вдруг — чихнул прямо на голову Петунникова. Тот вскрикнул, присел и прыгнул в сторону, чуть не сбив с ног пристава, который едва удержал его, раскрыв ему объятия.

— Видите? – тревожно сказал купец, указывая на Мартьянова. – Вот какие люди! а?

Кувалда хохотал. Доктор и следователь смеялись, а к дверям ночлежки подходили все новые и новые фигуры. Полусонные, опухшие физиономии с красными, воспаленными глазами, с растрепанными волосами на головах, бесцеремонно разглядывали доктора, следователя и пристава.

— Куда лезете! – усовещивал их городской, дергая за лохмотья и отталкивая от двери. Но он был один, а их много, и они, не обращая на него внимания, лезли, дыша перегорелой водкой, молчаливые и зловещие. Кувалда посмотрел на них, потом на начальство, несколько смущенное обилием этой нехорошей публики, и, усмехаясь, сказал начальству:

— Господа! Может, вы хотите познакомиться с моими квартирантами и приятелями? Хотите? Все равно — рано или поздно, вам придется, по обязанностям службы, знакомиться с ними...

Доктор смущенно засмеялся. Следователь плотно сжал губы, а пристав догадался, что нужно было сделать, и крикнул на двор:

— Сидоров! Свисти... скажи, когда придут сюда, чтоб достали телегу...

— Ну, а я пойду! — сказал Петунников, выдвигаясь откуда-то из-за угла. — Квартирку вы мне сегодня освободите, господин... Я ломать буду эту хибарочку... Позаботьтесь... а то я обращусь к полиции...

На дворе пронзительно рокотал свисток полицейского, у дверей ночлежки тесной толпой стояли ее обитатели, позевывая и почесываясь.

— Итак, не хотите знакомиться?.. Невежливо!.. — смеялся Аристид Кувалда.

Петунников достал из кармана кошелек, порылся в нем, вытащил два пятака и, крестясь, положил их в ноги покойника.

— Господи благослови... на погребение грешного праха...

— Что-о? — гаркнул ротмистр. — Ты — на погребение? Возьми прочь! Прочь возьми, я тебе говорю... мер-рзавец! Ты смеешь давать на погребение честного человека твои воровские гроши... разражу!

— Ваше благородие! — испуганно крикнул купец, хватая пристава за локти. Доктор и следователь выскочили вон, пристав громко звал:

— Сидоров, сюда!

Бывшие люди стали в дверях стеной и с интересом, оживлявшим их смятые рожи, смотрели и слушали.

Кувалда, потрясая кулаком над головой Петунникова, ревел, зверски вращая налитыми кровью глазами:

— Подлец и вор! Возьми деньги! Гнусная тварь — бери, говорю... а то я в зенки твои вобью эти пятаки, бери!

Петунников протянул дрожащую руку к своей лепте и, защищаясь другой рукой от кулака Кувалды, говорил:

— Будьте свидетелем, господин пристав, и вы, добрые люди.

— Мы, купец, недобрые люди, — раздался дребезжащий голос Обьедка.

Пристав, надув лицо, как пузырь, отчаянно свистел, а другую руку держал в воздухе над головой Петунникова, извивавшегося перед ним так, точно он хотел влезть ему в живот.

— Хочешь, я наставлю тебя, ехидна подлая, ноги целовать у этого трупа? Х-хочешь?

И, вцепившись в ворот Петунникова, Кувалда швырнул его, как котенка, в двери.

Бывшие люди быстро расступились, чтобы дать купцу место для падения. И он растянулся у их ног, испуганно и бешено воя:

— Убивают! Караул... убили-и!

Мартьянов медленно поднял свою ногу, прицеливаясь ею в голову купца. Обьедок со сладострастным выражением на своей физиономии плюнул в лицо Петунникова. Купец сжался в маленький комок и, упираясь в землю ногами и руками, покатился на двор, поощряемый хохотом. А на дворе уже появились двое полицейских, и пристав, указывая им на Кувалду, кричал:

— Арестовать! Связать!

— Вяжите его, голубчики! — умолял Петунников.

— Не смей! Я не бегу... я сам пойду, — говорил Кувалда, отмахиваясь от городских, подбежавших к нему.

Бывшие люди исчезали один по одному. Телега въехала во двор. Какие-то унылые оборванцы уже тащили из ночлежки учителя.

— Я т-тебя, голубчик... погоди! — грозил пристав Кувалде.

— Что, атаман? – ехидно спрашивал Петунников, возбужденный и счастливый при виде врага, которому вязали руки. – Что? Попал? Погоди! То ли еще будет!..

Но Кувалда молчал. Он стоял между двух полицейских, страшный и прямой, и смотрел, как учителя взваливали на телегу. Человек, державший труп под мышки, был низенького роста и не мог положить головы учителя в тот момент, когда ноги его уже были брошены в телегу. С минуту учитель был в такой позе, точно он хотел кинуться с телеги вниз головой и спрятаться в земле от всех этих злых и глупых людей, не дававших ему покоя.

— Веди его, – скомандовал пристав, указывая на ротмистра. Кувалда, не протестуя, молчаливый и насупившийся, двинулся со двора и, проходя мимо учителя, наклонил голову, но не взглянул на него. Мартьянов с своим окаменелым лицом пошел за ним. Двор купца Петунникова быстро пустел.

— Н-но, поехали! – взмахнул извозчик вожжами над крупом лошади.

Телега тронулась, затряслась по неровной земле двора. Учитель, покрытый каким-то тряпьем, вытянулся на ней вверх грудью, и живот его дрожал. Казалось, что учитель тихо и довольно смеется, обрадованный тем, что вот наконец он уезжает из ночлежки и более уж не воротится в нее, — никогда не воротится... Петунников, провожая его взглядом, благочестиво перекрестился, потом тщательно начал обивать своим картузом пыль и сор, приставшие к его одежде. И по мере того как пыль исчезала с его поддевки, на лице его являлось спокойное выражение довольства. Со двора ему видно было, как по улице в гору шел ротмистр, с прикрученными на спине руками, высокий, серый, в фуражке с красным околышком, похожим на полосу крови.

Петунников улыбнулся улыбкой победителя и пошел к ночлежке, но вдруг остановился, вздрогнув. В дверях против него стоял с палкой в руке и с большим мешком за плечами страшный старик, ершистый от лохмотьев, прикрывавших его длинное тело, согнутый тяжестью ноши и наклонивший голову на грудь так, точно он хотел броситься на купца.

— Ты что? – крикнул Петунников. – Ты кто?

— Человек, – раздался глухой хрип.

Петунникова этот хрип обрадовал и успокоил. Он даже улыбнулся.

— Человек! Ах ты... такие разве люди бывают?

И, посторонившись, он пропустил мимо себя старика, который шел прямо на него и глухо ворчал:

— Разные бывают... как бог захочет... Есть хуже меня... еще хуже есть... да!

Хмурое небо молча смотрело на грязный двор и на чистенького человека с острой седой бородкой, ходившего по земле, что-то измеряя своими шагами и острыми глазками. На крыше старого дома сидела ворона и торжественно каркала, вытягивая шею и покачиваясь.

В серых, строгих тучах, сплошь покрывших небо, было что-то напряженное и неумолимое, точно они, собираясь разразиться ливнем, твердо решили смыть всю грязь с этой несчастной, измученной, печальной земли.